

84(2-411.2)
Д 318.



А. ДЕМЧЕНКО

ВСТРЕЧИ В ГОРАХ

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК
СРОКОВ ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Колич. пред. выдач

22/к

м

20/к

2/к

23/к



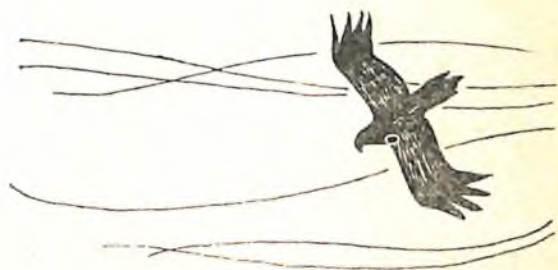




АЛТАЙСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО — 1974



2202.16 2-



А. ДЕМЧЕНКО

ВСТРЕЧИ В ГОРАХ

ОЧЕРКИ,
РАССКАЗЫ

Горно-Алтайская
областная
БИБЛИОТЕКА.

Р 2
Д 31

Демченко А. М.
Д 31 Встречи в горах. Очерки и рассказы. Барнаул,
Алт. кн. изд., 1974.
156 с.

В книгу включены очерки и рассказы о тружениках Горного Алтая,
о их жизни, труде.
Многие страницы посвящены чудесной природе этого уголка нашей
родины.

Д $\frac{0732-064}{М 138(03)-74}$ 26-74

Р 2

ОБ АВТОРЕ

Автор этой книги, член Союза писателей СССР, Александр Михайлович Демченко родился в 1914 году в г. Иркутске. Но детство и отрочество провел на Алтае, в селе Троицком, где окончил семилетнюю школу.

После семилетки А. М. Демченко поступил в Томский геолого-разведочный техникум, но окончить его не удалось из-за болезни. Возвратившись на Алтай, начал работать учителем в Смоленском районе. Одновременно с работой учился в Томском педагогическом институте.

В 1941—1945 годах служил в Советской Армии, участвовал в Великой Отечественной войне. Удостоен восьми правительственных наград: ордена Красной Звезды и семи медалей. После демобилизации снова приехал на Алтай и работал корреспондентом газеты «Алтайская правда». С 1952 года живет и работает в г. Горно-Алтайске.

Журналистская деятельность дала А. М. Демченко возможность познакомиться с замечательными людьми нашего края, о которых он пишет очерки и рассказы.

Свою первую книжку «Шаргайта», в которую вошли одноименная повесть и ряд рассказов о тружениках Горного Алтая, он опубликовал в 1952 году в Алтайском книжном издательстве.

В 1954 году здесь же выходит роман А. Демченко «Чуйские зори», посвященный тому новому, что появилось за годы Советской власти в жизни алтайского народа. Автор показывает творческий труд животноводов, их братское сотрудничество и дружбу с русскими людьми. На образе главной героини Кульзах писатель раскрывает духовную красоту и силу раскрепощенной женщины-алтайки.

Этот роман был тепло встречен читателями и в 1956 году переиздан.

В романе «На стремнине» (Барнаул, 1957 г.) писатель, изображая жизнь колхоза «Горный большевик», рисуя образы председателя колхоза Голубя и секретаря партийной организации Жигулева, ставит проблему партийного руководства сельским хозяйством, утверждает творческий подход к решению производственных задач.

В 1961 году в г. Горно-Алтайске был издан сборник рассказов А. Демченко «Люди моей мечты», а в 1962 году в г. Барнауле напечатана его «Повесть о настоящей любви», которая в 1963 году

вышла вторым, дополненным и исправленным изданием. В центре повести агроном целинного совхоза Марина Иноземцева. Всю свою энергию и энтузиазм отдает она любимому делу и добивается успеха в работе.

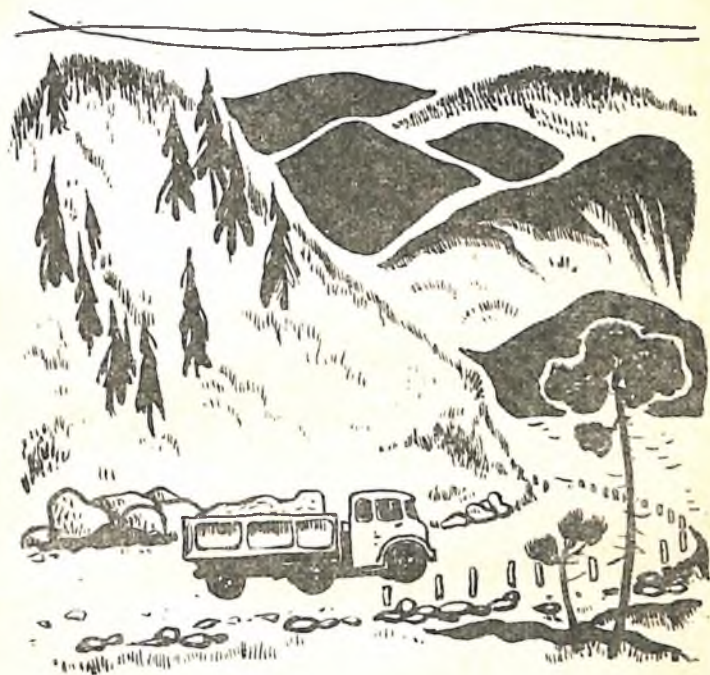
Дважды, в 1968 и 1973 годах, в Алтайском книжном издательстве выходил сборник очерков и рассказов А. Демченко «В краю легенд», получивший высокую оценку в печати. Сборник этот посвящен животноводам, механизаторам Горного Алтая, его удивительной природе.

В этом году Александру Михайловичу исполняется 60 лет, и к своему юбилею писатель создал новую книгу очерков и рассказов «Встречи в горах». Автор знакомит нас с тружениками Горного Алтая, этого удивительного уголка нашей родины, их повседневным трудом, радостями и заботами.

Разная судьба у героев А. М. Демченко, но их объединяет одна общая черта — горячая любовь к своему краю, самоотверженный труд на благо Родины.

Любовь к людям труда, преклонение перед их величием и простотой характерны для всех произведений писателя, который посвятил свой талант благородному делу — воспитанию нового человека, строителя коммунизма.

Л. РАКИТИНА



ОЧЕРКИ



В ДОЛИНЕ КАСПЫ

Стояло «бабье лето». В долинах Каспы золотой сентябрь справлял свой байрам. Мы сидели у говорливого ручья, на предплечье горы, а внизу разноголосно шумело село. Из лесу слышался рокот тракторов, откуда-то доносилась веселая девичья песня. Ветеран труда местный житель Владимир Сазонкович Кергиллов, задумчиво поглядывая вдаль, неторопливо вел рассказ.

— Когда я смотрю на такие речушки, мне приходят в голову мысли о судьбе моего небольшого алтайского народа... Ну, что бы он, если бы не Октябрь?

И вот этот рассказ о родном селе, обычном, рядовом, стоящем в стороне от больших дорог.

Рассказ о селе, рожденном в годы великого перелома, в те дни, когда ломались привычные устои кочевой жизни, подвергались сомнениям извечные истины в семейных укладах и человеческих отношениях.

Было это сложное время. А уйти от него нельзя. И спрятаться в урочищах тоже. Потому что за новыми веяниями шла новая жизнь. А эта жизнь, как говорили большевики, смотрит на все другими глазами. А почему? Да потому, что у нового времени на все своя мерка, да и пришло-то оно из будущего. Об этом

светлом будущем и говорили неустанно большевики. А что они были неустойчивы и нестойчивы в делах, в этом убедились жители горных долин. Большевики заезжали к костру стоянки и рано утром, и поздно вечером. Так нужно было, потому что боролись они за завтрашний день. А кому охота жить днем вчерашним! Вот и слушали их. Угощали чаем и мясом. Вели беседы. Все казалось необычным и, конечно, заманчивым.

— Вы проезжали наши перевалы? Их от Шебалина до Каспы — три. А логов и ущелий раз в десять больше. Вот в каждом таком урочище — родина какого-нибудь кочевника... Собственно, можно ли назвать его кочевником в полном смысле этого слова? Ведь далеко не откочевывали. Зимняя стоянка, летняя — вот и весь маршрут. У многих такой маршрут на всю жизнь. В каждом урочище — свои реликвии. Свои лета и зимы, приметы... Правда, обычай по сеокам неписаный, но сохраняемый поколениями. Горе и радость дальше аила не выходили. Кого они могут встревожить? Живешь один — радуйся своим успехам тоже один. Горе, если оно в твоём аиле родилось, — тоже твоё горе. О нём ты можешь слагать песни и легенды. Если они затронут сердца других, тогда только уйдут от твоей стоянки и могут стать достоянием всех.

А что, если все вместе: и труд, и заботы, и радости?

— Об этом и толковали на стоянках. С каждым в отдельности толковали, да не один раз, — вспоминает Кергилов.

— А ты сам-то, Владимир Сазонкович, видел, как это сообща живут? — допытывались у него пастухи. Ну, а как же не допытываться! Ведь этот самый Кергилов совсем ещё молодой человек, как он может знать, где лучше, а где хуже!..

А сообща — конечно, здорово.

* * *

Удивительный это был день. Сначала съехались все к подножию перевала Бюру-уязы. И небольшим отрядом — вниз спустились. Хорошая долина открылась за речушкой справа. Большое село можно выстроить. Место ровное. По краям долины — речушка, лес, горы. А пе-

ревал никак не может остановиться. Он все катится и катится вниз, увлекая за собой и ручьи, и травы, и лес, вместе с логами. Куда-то навстречу солнцу бежит перевал. Бежит. И никак не может свой бег приостановить.

Проехали верховые по долине, которая Крест-агашем прозывалась. Старики восседают в седлах. Критическим взглядом прощупывают все окрест. Может, тут основаться колхозу? И уполномоченный из Шебалина советует:

— Красивое место. Ровное. Можно бы и село рубить.

Старики долго думают. С ними мудрость, неторопливая, осторожная.

Решили:

— Тут нельзя строиться, уполномоченный. Уж если в селе жить по-новому, тогда и огороды заводить. Не ездить с мешком к вам за картошкой в Шебалино.

— Верно. Так в чем же дело? Разве эта долина не по душе?

— Душа тут ни при чем, уполномоченный. Заморозки тут ранние. Побьют все огороды.

Это было резонное замечание.

Спустились ниже по Каспушке. Впереди — широкий распадок открылся. Далеко засинели отроги гор. Там где-то у Катуня табунутся островерхие горы. Хорошая светлая долина, хоть и не совсем удобная, на широком склоне расположена. Просмотрели лога ближние. Травянистые, лесные. И земля черная. Урожайная. Речушка рядом, рвется вниз. Шумит, взбивая на камнях пенные грядки. Ничего, веселая речушка.

На том и порешили:

— Быть тут селу Каспе.

Теперь удивляются каспийские ребятишки.

— А разве Каспа не вечно была?

— Вот тут на пригорке, — рассказывает, добродушно поблескивая глазами, Владимир Сазонкович, — собрали конторский айл. На нем снаружи дощечку прикрепили: «Тоз Дьяны дьюрт». Новое село значит. А вокруг, стараясь соблюдать по возможности порядок, поставили айлы первые переселенцы. Немного их было, но улица обозначилась четко... А ниже по урочищу выросли айлы тоза «Тан Чолмон» — «Утренней звезды». Там было пооживленнее. Скота больше набралось, людей...

Молод был совсем в те годы Владимир Кергилов, но решителен в действиях, смел в решениях.

— Ты и будешь нашим председателем, — порешили старики. — Скажи в Шебалино. Спрашивай, что и как. Скажи там, что мы согласны идти к новой жизни. Пусть подсказывают, с какого края начинать.

В Шебалино спросили об имуществе:

— Чем располагаете? Прибрось тут же на счетах. Ухмыльнулся Кергилов.

— Какие такие счета? На пальцах могу, а на счетах не умею. — И не задумываясь, загибая пальцы левой руки, сказал:

— Коров всего три... лошади у пяти охотников по одной. Земли триста пятьдесят десятин будет... Так землемер ваш сказывал, когда отводил участок.

— Плуги, бороны и прочий инвентарь?

— Нету прочих, и плугов нету. Откуда им быть? — удивился молодой председатель.

— Ну вот что, товарищ Кергилов. Поезжай пока. Мы тут подумаем, какой определить вам профиль. Возьми вот в дела карту угодий.

Красивая такая, хрустящая бумажка, а на ней красные, синие, черные линии. Синие, будто дождь летний, нанскосок. Красиво.

— Это ваши луга и пашни будущие, — сказал на прощанье землеустроитель, — а вот эти розоватые круги — горы, перевал. Кубики — центр усадьбы.

Карту земельных угодий повесили в конторском аиле. Все приходили и разглядывали ее. И всем очень нравился этот самый синий дождь. Но ни один из кочевников не мог разглядеть на той карте будущий день.

А он где-то был тут. Скрыл, видно, что-то от председателя тот землеустроитель.

Вскоре приехал сам председатель аймакисполкома. Побывал в аилах, чаю попил.

— Хорошее место у вас, солнечное, — сказал он. — Заживете, дома постройте. Все иначе станет... А пока решили мы преобразовать ваше товарищество в промысловую артель. Лес у вас под рукой, деготь будете гнать, известку выжигать. Кроликов дадим вам. Разводите. Создайте бригаду охотников.

...Тут же собрание провели. Распределились, кто за что отвечает. Поехал Кергилов за кроликами. В клетках

на таратайке привез. Мальчишек и девчонок не оттащишь за уши. Очень им понравились ручные зайцы! Из «Тан Чолмон» приходили гости и все любовались ими. Только старики покачивали головами, сомневались они, не верили, чтобы эти самые ручные зайцы могли богатство принести артели...

— Вскружили они нам тогда голову, те самые кролики, — вспоминает Владимир Сазонкович. — Срубили им дворик. Росло быстро кролиное царство, а потом — вдруг стали замечать их то в одном конце села, то в другом. Ушли под землю и обосновались самостоятельно! Потом ловили всей артелью, а которых просто охотники постреляли.

Несерьезной оказалась эта затея с кроликами. Правда, деготь хорошо пошел. Известь — тоже. Неплохо промышляли зверя охотники. Кое-какие деньги появились. Но потомственных животноводов тянуло к скоту. Надо разводить и овец, и коней, и коров. А как же иначе? В этом и была выгода коллективного хозяйствования.

— Поезжай, председатель, в область. Поговори там, — наказали мужики Кергилову. — Ищи хорошего человека. Видишь, в «Тан Чолмон» сеять начали. Скот разводят. У них и ячмень, и мясо. Хлопотать надо и нам.

Давно поглядывал на соседей и сам Владимир Сазонкович. Хорошо пошли. Общественную ферму открыли, плуги завели и другой инвентарь, целину поднимать стали. Трудно в артели без транспорта, да и людей на все не хватало.

Поехал.

— И нашел, — с удовольствием вспоминает Кергилов этот день. — В облзо он был... Таушкановым звать. Выслушал про наши заботы и говорит: «Вот что, товарищ Кергилов, бери ссуду в сельхозбанке. Помогу. Перечислишь эти деньги на зональную опытную станцию. Коров дадут тебе». Не поверил даже сразу. Побежал в сельхозбанк. Там какие-то бумажки посмотрели: «Можем, — говорят, — дать тыщи две с половиной». — «Сколько же это коров будет?» — спрашиваю. — «Хватит на небольшую ферму... Потом сами разведете!» Вот так, как в доброй легенде получилось. Поехал в город бедняком, а возвращался богатым хозяином...

До сих пор старики, живы которые еще, добрым словом того Таушканова поминают. Весной перешли на

устав сельхозартели. Новую ферму, овцетоварную, завели. Пошел колхоз в гору. Ну, а теперь какова наша Каспа?

...Много солнца в Каспе. Оно брызжет в окнах крестовых домов. Оно плещется радостью в глазах людей. Оно в рокоте тракторов и автомашин, которые деловито снуют на полях Каспинской фермы Шебалинского оленесовхоза.

В районном центре Шебалино только что закончился фестиваль. Около ста человек приехали из Каспы на праздник... О самодеятельном коллективе Каспы Москва узнала. Туда ездили каспинцы. С дипломами вернулись. А у Владимира Сазонковича еще один праздник: правнучка десятилетку заканчивает. Уже на школьный выпускной вечер приглашение имеет ветеран труда.

— Вот он, тот самый завтрашний день, — улыбается Кергилов. — К нему мы нелегко шли. Ой как нелегко! Спасибо молодежи — не забывает об этом... А нам подумалось: разве не от той же Октябрьской зари так же дружно, весело и смело зашагали соседние села — Апшухта, Ороктой, Куюс, Эдиган...

И там были свои Кергиловы — первые энтузиасты, большевики. Малые речушки счастливо пробились к большой полноводной реке.



ГОЛУБАЯ ПАДЬ

Вниз по Чолушману

У Телецкого — много имен. Большая слава. Его ежегодно атакуют тысячи туристов — любителей костра и солнца. Алтайцы называют его Алтын-Кёлем. Золотое озеро. А в Чодро один из егерей назвал его Голубой падью.

— Шесть веревок связывали по пятьдесят метров каждую, — говорит он, — и не могли достать дна.

Голубая падь... Туда держит путь через каменные завалы Чолушман. За ним не угнаться. Он бежит, задрав голубую гриву, будто марал во время гона. Трубит, трубит. Зовет кого-то. Стекают в расселину водопады, распыляясь мириадами брызг. На восходе солнца горят они диковинными самоцветами. Кажется, полудужья радуг впаяны искусным мастером в прибрежные серые скалы. Их трепетное сияние еще больше оживляет и украшает эту живописную долину. Если б водопады светились россыпью брызг! Сколько было бы чудесных лампочек. А в лунную ночь так и бывает.

...Узкая тропа виляет у каждого валуна. Справа — герой нашего очерка Чолушман. Рычит, сердито отплевывается. Редко — ласков. Там, где вдруг мелькнет светлина, — будто лужайка в лесу. Тут он крутит омуты. Блеснет неожиданной голубизной до самого дна, соберет в кружаке разный мусор и на первом же перекате разбросает его по сторонам.

За черемуховыми зарослями остался Чодро, небольшой поселок лесников. Рыбацкие байки. Охотничьи приключения. А еще дальше — Тилу-Кель. Теплое озеро. Вот от него гонцом к Телецкому и спешит Чолушман. Голубая артерия. По ней Тилу-Кель снабжает Золотое озеро отличным хариусом, тайменем, а главное — чудесной водой. Наш добровольный проводник Гриша Акчин, чабан из-под Чодро, немного философ, немного поэт, говорит:

— Хоть и завхозом работает Чолушман у двух озер, а воду его в золотых бы колодцах держать. Заметили? Пьешь — не напьешься.

Гриша редко встречается с людьми с «большой земли». С соседями-чодринцами давно все переговорено. И когда собираются люди вечерами — больше поют, чем говорят. Петь удобно. Можно о многом подумать. А насчет воды чулышманской он прав.

Подумав или о чем-то вспомнив, оборачивается в седле и кричит:

— А почему человек сам себе на горло наступает? — И, видя наше недоумение, обнажает в улыбке ровный ряд зубов. — Насчет воды я... Небось, видели, какими стали малые речки? Ни рыбы поймать, ни напиться.

Если бы каждый чувствовал себя хозяином на земле... Прав Гриша.

— Я так думаю, — продолжал он, свесившись с седла, — человек должен помочь земле подольше не стариться. Верно говорю?

Чолушман мешал разговору. Вмешивался, грохотал так, что в ушах дрожали перепонки. Гриша махнул рукой и погнал невысокого, резвого своего коня меж огромных серых валунов. Вскоре его не стало видно, только из-за камней смешно кидалась из стороны в сторону его меховая шапка с рыжеватой кисточкой.

Часа три виляла еле приметная тропа меж валунов, потом полезла на крутояр, где-то там, на гребне его, зеленела лесная застава. На самой скалистой кромке отвесного берега тихо покачивались ели. Но до них высоко. Кажется, невозможно подняться на конях к этой зеленой заставке. С надеждой следим за Гришей. Неожиданно стена рассекается зарослями черемухи, осины и тала. Ущелье. Оттуда вдруг изогнутым мечом чистейшего серебра повисает в воздухе струя воды. Шума ее не слышно — забивает Чолушман. Но этот живой меч то упруго сгибается в середине, то опадает до прямой нитки.

— Дышит Тайбылки, — кивает на горный ручей Гриша, отпустив коня. Тот припадает к траве. Тропа, извиваясь, подползает к устью Тайбылки. Мы стоим у подножья стены и, задрав головы, смотрим в высоту.

— Это он с испугу, — смеется Гриша. — Никогда с такой кручи не прыгал. Вот и шарахается назад.

Похоже. И здорово.

— А может, не столько высоты испугался, сколько этого лохматого зверя, — кивает кто-то на Чолушман.

В этом месте он весь в бурунах. Волочет всякую мешанину: небольшие деревца с корнями, прихваченные где-то по пути, по каменному ложу его грохочут валуны. Вот столкнулись они с подводной скалой лоб в лоб. Голубая грива воды взметнулась кверху. Скала и не покачнулась. Приблудный валун обрел себе новое место. Теперь, кажется, навечно. Пока не перегрызет, не подточит вода скалу.

— Работяга, — заключает Гриша. — И куда он летит, как сумасшедший? Силища-то! Сколько бы моторов мог крутить.

Мы стоим в голубой впадине. И такое впечатление, будто находишься на дне голубой реки. Где-то там, на высоком берегу, лес, долины, селения. Стоит по тропе подняться на берег, как сердце начнет отсчитывать другие деления. И человек чувствует их. Высота. От грохота становится больно в ушах.

Мы с надеждой смотрим на Гришу. А он в свою очередь — на коней. Надо подождать. Пусть подкрепятся перед трудным подъемом. Там, в Чодро, мы спустились вниз лесом. Здесь перед нами почти отвесная стена. Осыпи. Редкий кустарник. Поможет, очевидно, овраг Тайбыллы.

— Верно, — кивает Гриша и раздает всем мягкие сырники. Мы с удовольствием едим кисловатый спрессованный творог из овечьего молока.

— А там — вверх по речушке и вправо, на берег оврага. Оттуда я и поверну обратно.

...Часа два длится подъем. Здесь, на высоте птичьего полета, уже не слышится грохот Чолушмана. Голубая лента, прорванная тут и там рифами, — будто застывшая акварель на полотне. Мы еще с ним встретимся. Там. Пониже. Ближе к Телецкому.

А речушка Тайбыллы, которая бежит по дну глубокого оврага, не так уж безобидна, как казалась нам оттуда, снизу. Кони с трудом переходят ее. У самого обрыва — загородка из ивовых прутьев. Ячейки этой деревянной сети очень мелки. Зачем она здесь?

Гриша останавливает коня и уходит к этой загородке. Ждем, отдыхая в густом черемушнике. Наконец, он появляется. На лице его, чуть-чуть широкоскулом, улыбка. Доволен. Но чем?

— Третий год наблюдаю за рыбой. Запустил сюда мальков хариуса. Добыл в Чолушмане и поднял сюда сотни две, — рассказывает он. — Сразу же эту плетенку сделал. Упадут ведь, если начнут скатываться. В прошлом году находил несколько мертвых. Нынче нет. Научились, видно, бороться за свою жизнь. Ушли кверху.

Оказывается, речушка была «мертвой». Даже османы не водились.

— Я и решил заселить. Теперь вроде бы и жизнь началась в ней, веселее так-то.

Вот он какой, этот парень. Чабан из Чодро. Хозяин земли.



— И не подошли? — сомневается кто-то.

Гриша предлагает проехать выше по речушке. Облюбовываем пережат. Рядом — омут. Чистый. Светлый. Бросаем хлебные крошки. Напряженно смотрим. Гриша ловит в траве кузнечиков. Бросает их. И вдруг, блеснув серебряной чешуйкой, взлетает рыбешка, хватая прикормку и тут же исчезает. Так молниеносно может только он, хозяин горных рек.

— Харнус, — улыбается Гриша. — Живет.

Он рад. И мы все рады, что встретились с таким человеком. Добрая улыбка и какой-то спокойный блеск его глаз еще долго светили нам. Так бывает, когда вдруг обрешь что-то очень дорогое на память. И уже позднее, в Балыктуюле, на центральной усадьбе колхоза «За мир», где вырос Акчин, мы узнали и другого Гришу.

...Это было в одну из тяжелых зим. Стоял месяц чаган¹. Лютый, суровый месяц, а Чолушманская падь не приняла еще ни грамма снега. Бесснежной зиме всегда рады пастухи, если это не коварство. Тебеневать в малоснежье легко. И чабану легко, и отаре. А в ту зиму трудно было понять, когда кончилась осень и когда началась зима. Дождь лил даже в канун Нового года. Потом ударили морозы. Заковало броней землю. Перемерзли ручьи. Огромными хрустальными сосульками повисли с гольцов худосочные водопады. Ушел под лед Чолушман, прикрывшись острыми торосами. Долго билась могучая река. И эти торосы изо льда казались теперь остатками панцирных щитов, кольчуг и шлемов, покореженных в битве с великаном и брошенных на поле боя. Трофеи мороза. Выбросил их на поверхность Чолушман. Ушел под лед непобежденным.

Гриша попал в ловушку. Парень не растерялся: рубил тал, мелкий осинник, еловые ветки — все это возил на коне в отару. Потом этот хворост приходилось возить все дальше и дальше. Было у него как НЗ несколько стожков сена. До них добрался, рассудил: «Труднее момента, пожалуй, и не будет». Скормил два стожка, а потепление не наступает. Страшно стало Грише. Впервые так испугался за отару.

— Погибнет. Надо уходить наверх из этой пади. Капкан.

¹ Чаган (алт.) — январь.

Вокруг на десятки километров ни одной пастушьей стоянки. Его — самая дальняя. Там, под Тайбылky, еще есть одна. Толтовой Марин Васильевны. У нее козы. Их и лед не держит. Лезут на скалы. Обьедают мелкий кустарник.

Как-то вечером поскакал в Чодро, к лесникам. У них телефон. Дозвонился до Балыктуюля.

— Звонит, — рассказывает председатель колхоза Арсентий Васильевич Санаа, — а сам будто извинения просит. Обидно парню, что пришлось за помощью обратиться. Пожурил его. У самого давно тревога была за эту Чолушманскую падь. Обледенеют склоны, тогда хоть вертолет вызывай — не поднять наверх отару. Случилось самое страшное. Уж если Гриша решился звонить, значит положение отчаянное.

Объявил Санаа «готовность номер один» в селе. Стали думать, что делать. Толковали долго. Решили: пусть Гриша пробьется с отарой до Тайбылky. Позвонили ему. Подумал. Согласился. Послал до спуска председатель человек десять верховых. С сеном, кирками, топорами. От Чодро до Тайбылky километров восемнадцать, не больше. Летом — два часа езды по тропе. А Гришу ждали... пять суток. Пять суток горел костер на гребне пади. Дежурили у него посланцы Санаа. Не выдержали: послали в контору гонца.

— Пропал Гриша... А спуститься вниз невозможно. Из Чодро лесничий сообщил:

— Увел Гриша отару. Дня три, как увел. И назад не возвращался.

— Что же он в это время делал? Выжидал?

— Возил по тропе сено. Навяжет две охапки, перекинет через седло, коня за повод ведет. В одном месте небольшой навильник сбросит, в другом, и так до самого увала, — вспоминает Арсентий Васильевич. — Верхом перетаскать последний стожок — это не каждый сможет. Подчистил остожье — остатками покормил овец на ночь, а утром двинулся в путь... Первый день и пяти километров не прошел. В глухом осиннике заночевал. На пятые сутки подошел к подножию Тайбылky. Увидел наверху костер, обрадовался. Сено, сброшенное сверху, раскидал отаре, а сам, вооружившись топором, полез по тропе. Идет, скалывает лед. А на курумнике он тонкий, как пленка. Местами, где застоялась вода, — опасно.

Тут и рубил. А до устья ручья ребята тропы уже проделали.

Утром привязал за рога к седлу на длинную веревку вожака-козла. Потянул на тропу. Поупирался, пошел. А когда за ним потянулась отара, отвязал. Почти весь день поднималась отара. Когда на гребень вышла последняя овца, ребята бросились к Грише и хотели его качать. Гриша сидел в седле и... спал. Все удились.

— Сейчас же, минуту назад подбадривал еще отару. И вдруг!..

Два всадника пристроились справа и слева от Гриши, третий взял повод его коня. Так и доехали до ближайшей стоянки. А там уложили в постель.

2. Тропа героя

Хорошими людьми и легендами богата Чолушманская долина. Но что значат эти легенды давно минувших дней против тех событий, которые разыгрались на берегах могучей реки глубокой осенью 1921 года. О них вам не расскажет Чолушман. И камни ничего не расскажут. И даже скромный обелиск, построенный на его правом берегу, не поведаст всех тайн тех бурных и страшных дней, когда горстка отважных коммунаров первой в Горном Алтае коммуны «Освобожденный труд» грудью встала на защиту завоеваний Октября против белобандитов. Вот эти камни. Под ногой коня. Обомшелые. Седы. Может, па крови смельчаков вырос этот лишайник, что курчавится с боков серых безгласных валунов? Свистит острец. Что-то змеиное мнит в этом свисте. Может, этой же тропой в осеннюю ночную коловерьть, когда крутой берег реки секли косые холодные дожди вперемешку со снегом, пробирался монах, кутаясь в рясу, с очередным донесением к предводителю бандитской ватаги? Гадючий шепот о силах коммунаров, об их секретных заставах, о новых решениях — и в подарок кусок баранины...

Может, этой же тропой в ноябрьскую ненастную ночь шел посланник коммунаров, отважный парнишка Павел Волков, сын погибшего первого председателя коммуны, чтобы вызвать на помощь погранотряд?

Он был схвачен бандитами. Его привязали к седлу и волоком тащили по этим острым камням... С какого места? Откуда? Где, под каким камнем подкараулили тебя враги, Павел Волков? Что ты увидел в последний миг? Чолушман? Глаза матери? А может, тебе почудилась на какое-то мгновение песня девчонки, которую ты еще не успел полюбить.

Сначала отец... Потом ты... Потом мать. А с нею — вся партийная ячейка коммуны. Погибли. Не сдались.

...Вьется тропа. Каменная, безжизненная. Глазастая, но немая. А тогда, в двадцать первом, глубокой осенней ночью бандиты ворвались в коммуну, и над Чолушманом гудели монастырские колокола. Они пели осанну «освободителям». Гудели победно и торжественно колокола. Кровью коммунарских детишек была залита паперть священного храма. Колокола победно гудели. Монахи разыскали свои черные рясы. И вот они, потупив взор, шепча молитвы, уже думают справлять свои требы. Идут, вылазят из подполья, словно пауки. Обходят детские трупики, лужи крови. Эту кровь Христос на себя возьмет. Пусть радуются, что погибли во младенчестве, не натворив, как их отцы и матери, греховных дел. Бог правду видит. Кто вас просил в божью обитель? Сами пришли с мандатом от сатанинской власти. Кесарю — кесарево. Гудят, гудят победно и торжественно колокола... Почти полмесяца трезвонят, а потом приходит возмездие.

...Свистит острец. Под копытами коней высекаются искры. Справа от тропы потемневшей бездной Чолушман уже ловит первые звезды. А может, это сплавляются хариусы. Здесь на крутом гребне берега еще светло. Еще в разрывах между елей горят розовые полосы зари. Крутой спуск. Катуярык. Каменная громадина горы опускается над Чолушманом, грозясь раздавить его. Река шарахается вправо и, пробив узкую щель, вырывается вперед. Здесь она наваливается на вас оглушительным победным ревом и грохотом. За Катуярыком левый берег садится все ниже и ниже. И река, раздавшись вширь, успокаивается, будто прихорашиваясь: ленивее становится ее волна, спокойней бег. Открываются лесные елани. Реже — лес. Наверное, здесь коммунары облюбовывали сенокосы. Мечтали когда-нибудь поднять эту землю.

Тут и рубил. А до устья ручья ребята тропы уже проделали.

Утром привязал за рога к седлу на длинную веревку вожака-козла. Потянул на тропу. Поупирался, пошел. А когда за ним потянулась отара, отвязал. Почти весь день поднималась отара. Когда на гребень вышла последняя овца, ребята бросились к Грише и хотели его качать. Гриша сидел в седле и... спал. Все удивились.

— Сейчас же, минуту назад подбадривал еще отару. И вдруг!..

Два всадника пристроились справа и слева от Гриши, третий взял повод его коня. Так и доехали до ближайшей стоянки. А там уложили в постель.

2. Тропа героя

Хорошими людьми и легендами богата Чолушманская долина. Но что значат эти легенды давно минувших дней против тех событий, которые разыгрались на берегах могучей реки глубокой осенью 1921 года. О них вам не расскажет Чолушман. И камни ничего не расскажут. И даже скромный обелиск, построенный на его правом берегу, не поведаст всех тайн тех бурных и страшных дней, когда горстка отважных коммунаров первой в Горном Алтае коммуны «Освобожденный труд» грудью встала на защиту завоеваний Октября против белобандитов. Вот эти камни. Под ногой коня. Обомшелые. Седые. Может, на крови смельчаков вырос этот лишайник, что курчавится с боков серых безгласных валунов? Свистит острец. Что-то змеиное мнится в этом свисте. Может, этой же тропой в осеннюю ночную коловерт, когда крутой берег реки секли косые холодные дожди вперемешку со снегом, пробирался монах, кутаясь в рясу, с очередным донесением к предводителю бандитской ватаги? Гадючий шепот о силах коммунаров, об их секретных заставах, о новых решениях — и в подарок кусок баранины...

Может, этой же тропой в ноябрьскую ненастную ночь шел посланник коммунаров, отважный парнишка Павел Волков, сын погибшего первого председателя коммуны, чтобы вызвать на помощь погранотряд?

Он был схвачен бандитами. Его привязали к седлу и волоком тащили по этим острым камням... С какого места? Откуда? Где, под каким камнем подкараулили тебя враги, Павел Волков? Что ты увидел в последний миг? Чолушман? Глаза матери? А может, тебе почудилась на какое-то мгновение песня девчонки, которую ты еще не успел полюбить.

Сначала отец... Потом ты... Потом мать. А с нею — вся партийная ячейка коммуны. Погибли. Не сдались.

...Вьется тропа. Каменная, безжизненная. Глазастая, но немая. А тогда, в двадцать первом, глубокой осенней ночью бандиты ворвались в коммуну, и над Чолушманом гудели монастырские колокола. Они пели осанну «освободителям». Гудели победно и торжественно колокола. Кровью коммунарских детишек была залита паперть священного храма. Колокола победно гудели. Монахи разыскивали свои черные рясы. И вот они, потупив взор, шепча молитвы, уже думают справлять свои требы. Идут, вылазят из подполья, словно пауки. Обходят детские трупки, лужи крови. Эту кровь Христос на себя возьмет. Пусть радуются, что погибли во младенчестве, не натворив, как их отцы и матери, греховных дел. Бог правду видит. Кто вас просил в божью обитель? Сами пришли с мандатом от сатанинской власти. Кесарю — кесарево. Гудят, гудят победно и торжественно колокола... Почти полмесяца трезвонят, а потом приходит возмездие.

...Свыстит острец. Под копытами коней высекаются искры. Справа от тропы потемневшей бездной Чолушман уже ловит первые звезды. А может, это сплавляются хариусы. Здесь на крутом гребне берега еще светло. Еще в разрывах между елей горят розовые полосы зари. Крутой спуск. Катuaryк. Каменная громадина горы опускается над Чолушманом, грозясь раздавить его. Река шарахается вправо и, пробив узкую щель, вырывается вперед. Здесь она наваливается на вас оглушительным победным ревом и грохотом. За Катuaryком левый берег садится все ниже и ниже. И река, раздавшись вширь, успокаивается, будто прихорашиваясь: ленивее становится ее волна, спокойней бег. Открываются лесные елани. Реже — лес. Наверное, здесь коммунары облюбовывали сенокосы. Мечтали когда-нибудь поднять эту землю.

Костер. Кажется, пастуший. Нет. Не видно ни скота, ни загона. Небольшой шалаш. А между камней — высокий черный таган. Молодые парни. Их шестеро.

— Ведем дорогу, — говорит один из них, невысокого роста, энергичный крепыш. — До Катуюрыка достать бы. А там Балыктуюль навстречу идет. Сколько всего? Километров сто двадцать...

Да, они из колхоза имени Ленина. Чолушманская коммуна? Там она и была, где сейчас усадьба колхоза. Это километров пятнадцать ниже. Там есть брод — мы его называем Коммунарским бродом.

— Почему?

— По нему коммунары скот перегоняли, когда шли сюда лесом и горами из Успенки.

Успенка — это нынешняя Чоя. Там организовалась коммуна «Освобожденный труд». Оттуда коммунары вышли на новые земли, к Чолушману. Этот переход за триста километров от Успенки по горам, таежным тропам — героическая эпопея.

Измученные, ободренные, почти без куска хлеба, вышли они июньским вечером к Чолушману. Может быть, вот так же запалили костры, наудили рыбы, а может быть, дорогой удалось подстрелить марала или козла. Сидели они у костра и, наверное, мечтали. «Не робейте, парни, — говорил оставшийся за Волкова коммунист Попов. — Тут край благодатный. Уезд отдал нам этот кусок не зря. Вытряхнем долгогривых. А у них в монастыре даже сад фруктовый есть. Не поленимся — завернем тут такие дела. С первым же урожаем всем девчонкам справим обновы: полушалки, платья... И вас не обидим, парни. Обосноваться бы. Корни пустить поглубже. А впереди такая жизнь открывается...»

Да. Корни остались. И какие! Силу их не раз пробовали на своей шкуре враги.

Тогда Попов говорил (сохранилось это в архивных документах, в частности в протоколах собраний партийной коммуны):

«Вы знаете, товарищи, какое время мы открываем!.. Наши дети, может, даже сено стоговать будут не вручную. Будет, я уверен, такое время. Ведь трудовой народ сам начал строить свою жизнь. А он-то для себя постарается. Даже вам, бабы, облегчение выпадет: коров станут машинами доить!..»

Конечно, его прервал смех. Не злой. Добродушный. Так смеются, когда верят, но когда почти невозможно удержать улыбки. Механизация-то пока вся на глазах: плуг да борона. И та деревянная.

...У костра Толя Кошев делился своими заботами. Бригадира дорожного отряда внимательно слушали парни.

— Отряд-то ведь наш, колхозный, — говорил Кошев, озабоченно поправляя дрова в костре. — Только неделю назад мы оборудовали последнюю электродойку во втором гурте... Нужна дорога. Мы сами задыхаемся без нее. Дорстрой почему-то считает, что это межколхозная дорога. А он мог бы на вертолетах перебросить сюда всю технику. У них такие сложные механизмы появились! — Он оглядывает парней. Те кивают ему согласнo, но замечают тут же:

— Освоили б без них. Дали б только...

Дорога. А тогда, в холодную ноябрьскую ночь, где-то по-над берегом Чолушмана, может быть вот по той тропе, извивающейся меж камней, торопился, бежал с донесением на далекую пограничную заставу пятнадцатилетний коммунар Павлик Волков. В коммуну одно за другим поступали сведения о том, что по глухим уркам скапливаются бандитские ватажки и ждут удобного момента, чтобы напасть на коммунаров. Находили подметные письма. Злобные, дышащие звериной ненавистью к коммунарам и особенно к их вожакам. Трудное это было время. Тревожное. В коммуне — с десятков ружей и в обрез боеприпасов. И вот решили послать добровольцев на ближайшую погранзаставу. А до нее, почитай, двести верст.

Всю ночь бушевала вьюга. Гудели ущелья. Ломал ледяные забереги Чолушман. Не поддавался морозу. А снег летел, летел огромными белыми звездами. Хрусткий. Жесткий. Припаивался к камням. Душил свирепую горную реку. Мороз на лету схватывал брызги. Стекла цели они и, словно бусы, падали в воду.

Ушел Павлик, пятнадцатилетний парнишка, в холодом дышащее ущелье. Сын организатора коммуны Волкова, убитого бандитами еще там, в Успенке.

Ушел... А на берегу, схватившись за грудь, долго еще стояла укутанная стареньким одеялом, поникшая, одинокая женщина. Если бы знать... Но кому дано это?

А Павлик шел по прибрежной тропе все выше, выше. Вот обогнул один притор, другой. Скользко. Трудно идти. В лицо бьет снежная пурга. Старенькую, десятки раз латанную шубенку продувает насквозь.

— Выдюжу... выдюжу... В ночь-то надо бы побольше пройти, — шептал посиневшими губами. И чудится мальчишке: сзади смотрит на него вся коммуна. Смотрит и думает: выстоит или нет в такую непогоду? Хватит ли у мальчонки силы пробраться? И радостно от этой думки становится. Будто крылья вырастают за плечами.

— Выдюжу... выдюжу... Комсомольцы, небось, и не на такое ходили. Отец говорил. Конечно, коня бы и наган. Или хотя бы шашку. — Подбадривает себя, подстегивает.

Идет мальчишка по глухому ущелью навстречу опасности. Прямо в пасть врагу. До Катуюрыка бы дойти затемно. Но где там. Столько верст!.. Что это? Цокот копыт. Пофыркивание лошадей. Камни скатываются в воду. Глухой говор. Павлик падает и ползет в щель меж камней. Сердце гулко стучит.

— Опоздал... Опоздал... Почему не вчера, не раньше послали? — обожгла мысль.

Банда скрылась в ночи. С тоской и болью в сердце смотрел ей вслед Павлик. Первой мыслью было закричать так, чтобы услышали там, в коммуне. Но ведь столько уже прошел. Бежит Павел вперед, а слезы ручьем по щекам. Обидно. Ноги стали подкашиваться. Сел на камень. Не может отдышаться. Вдруг возле устья реки раздалась глухие удары. Будто кто по железу стучит.

— Наши, наши бьются. Как они? А мне столько еще идти...

Бежит, уже не остерегается Павлик. Вот и притор новый. За ним, кажется, лес. Там легче. Не торопись, осмотрись вокруг, гонец! Сверни куда-нибудь в завал из камней. Обойди этот нависший над рекой притор... Если бы знать...

Выбежал на чистину. Под скалой — костер. Ослепил его. Проклятая собака выскочила навстречу. Хотел назад, а уже сзади властный окрик:

— Стой!

И лязг затвора. Замер. Собрался в тугой узел. Значит, не все ушли на коммуну. Эти ждут черед. У костра мужик, заросший рыжей бородой. Атаман, видать. На

плечи накинута козья доха. Вперекрест колушка патро- ны, шашка. Достал из котла большой кусок мяса. Зачав- кал, молча поглядывая на мальчонку. Павлик осмотрел- ся. Избушка рядом. У скалы легкий навес для коней. Защемило сердце. Куда уйдешь теперь? С тоской по- смотрел на костер...

Грубый удар в плечо. Упал к костру.

— Во, видал, гость пожаловал! Как с неба свалил- ся! — ржут бандиты. — Коммунарчик? А ну, повернись. Карманы?

— Нету их...

— Куда путь держишь?

— Убег я из коммуны.

— Чего так? Ай не сладко?

— Не сладко. Голодно стало. По деревням решил ийти. Может, возьмет кто. До лета бы прокормиться.

И снова гогот. Недоверчивый, ехидный. Злой. В самое сердце колет. Не уйти. Нет хода от смерти... А вот этот, чавкающий, видно, главный бандюга. Может, он и отца убил. Теперь остальных уничтожить хочет. Огляделся: сзади Чолушман ревет. Впереди и по бокам скалы. Ку- да уйдешь?

— Рассказывай, — потребовал атаман. — Правду говори.

Спокоен атаман. Сильный. Ни слову, значит, не по- верил.

— Я же сказал...

— Когда? — удивился бандит. — Не слышал.

И стало противно врать этой сволочи. Прикидывать- ся дурачком. Пусть знает, кто такие коммунары.

— А чего тебе говорить? Разве сам не знаешь? — сказал с вызовом Павлик и смело посмотрел в глубокие щелки-глаза атамана.

— Во. Это по мне.

Павлик подошел ближе к костру, нагнулся над ним, руки вытянул. Закоченели на ветру. Вздохнул. Как бы хорошо так-то вот. У мирного костра посидеть. А руки не чувствуют жара. И холода нет. Вот эта головня хо- роша... А там — река... Может...

— Я навстречу чоновскому отряду вышел. Ну да и без меня найдут дорогу.

Он схватил головню, быстро выпрямился и ударил ею по голове атамана. Размахнулся влево — бандита

ближнего стукнул и побежал к реке. Искры, искры вокруг... Но так длинен этот десяток сажений. Конца не видно... Что-то толкнуло в спину, отбросило на камни.

Гудел Чолушман. Грозно. Мстительно. Где-то там, на берегу, накрываясь стареньким одеялом, осталась мать... Искры вокруг. Откуда? Вот и они погасли. Издалека вырвалась метелицей песня отца: «Смело мы в бой пойдем... за власть Советов...», и песня ушла. Над молодым коммунарком опустилась ночь.

...Гривастый, яростный шумит костер. Вокруг него — молодые дорожки. Спокойные, сильные парни.

А на околице села — обелиск погибшим коммунарам. Живые цветы. Тропа, по которой шел Павлик Волков, становится дорогой. По ней пойдут к новым перевалам потомки первых коммунаров. Что же, так и есть. Того требует жизнь.

...Не доходя до Телецкого, рассорился Чолушман с теми речушками, что впадали в него по дороге, — разделился на три больших рукава, отгородился валунами и галькой и так влетел в Голубую падь.

3. Озеро-улыбка.

Озеро-зверь.

Озеро-легенда...

В тот день, ясный, солнечный, оно просвечивалось до дна. Смотришь с крутого берега вниз, а воды его во всей своей хрустальной толще на глазах раскалываются на огромные голубые плиты. Будто солнечный луч отрезает глыбы, проникая в глубину. А на грани мраморных плит — радужные солнечные искры. Но вот набежало облако, дохнуло прохладной тенью, и в тот же миг они исчезли, потухли в кромешной глубине.

Суровые отроги гор подсвечиваются голубизной.

— Чертовски трудно снимать, — жалуется телевизионщик Барнаульской студии Миша Ефременко, — стреляет в аппарат.

Все с недоумением смотрят на него.

— Кто?

— И синь эта, какая-то прямо-таки хрустальная, стреляет, — поясняет он, суетливо мечась по берегу в по-

исках «прицельной позиции». — И вот эти солнечные блики — тоже стреляют, — продолжает он бормотать. — И это могучее дыхание озера...

Пострекотав аппаратом в небольшом полудужье вокруг себя, он успокаивается и ищет новую цель.

Откуда-то из-за горы грациозно, будто лебедь, выплывает белоснежный теплоходик. Читаем издали название: «Алмаз».

Режет голубое стекло «Алмаз», оставляя позади себя белую ниточку-трещину, а она тут же, как живая, заштопывается крутыми бурунчиками, образуя серебристый шов. На палубе — стайка ребятишек в красных галстуках.

— Республика «Медвежонок», — кивает в сторону ребят Миша. — По тропам коммунаров пойдут.

Пионерский туристический лагерь, расположенный у истоков Бии, зовут так здесь. У республики своя «конституция». Законы. Ничего. Законы хорошие. Они содействуют закалке характера, воли, развивают смекалку.

«Медвежонок» — отличный цех природы. Его проходят каждое лето до пятисот ребят. А «взрослый» цех — до тридцати тысяч. По берегам Телецкого мелькают палаточные городки то в одном, то в другом месте. Из таежных урочищ к самой Голубой пади подходят быль и небыль. Охотничьи рассказы и легенды.

А на каменной террасе у самой воды под кронами яблонь стоит высокий старик. Он смотрит на «Алмаз». О чем подумалось ему в этот час? Может, о том, как сорок лет назад на утлой лодчонке переправил он свою многочисленную семью к этим каменным уступам, где не было ни зелени, ни этих фруктовых деревьев? На этой же лодчонке он стал возить с другого берега перегной и заложил сад. Теперь этот сад есть. Он украсил Голубую падь. Яблони цветут каждую весну. И дают хорошие плоды.

О чем он подумал, этот старый, узловатый, как корень кедра, человек, глядя из-под руки на белоснежный теплоход?..

Смирнов. Это он. Это его фактория на каменных уступах. Человек победил природу. Сделал ее богаче. Счастье трудных дорог. Кто идет в трудный путь, тот не рассчитывает на легкую победу. И он не рассчитывал, этот упрямый одиночка.

Капитан теплохода подает протяжные сигналы. Подносит руку к козырьку форменной фуражки. Человек моря. Это ему. Его мужеству.

Вспомнилась алтайская легенда.

Жил в этих окрестностях бедный охотник Анчи. Год выдался трудный. Зимой было много снега, весной — воды. Падал от бескормицы скот. Все звери разбежались по тайге. Зайца — и того не подстрелишь. Часто с пустыми арчимаками возвращался Анчи к своему бедному аилу. А у его порога семь пар голодных ребячьих глаз. Семь ртов. Не дойдет до своего родного очага Анчи, посмотрит издали на ребят и повернет обратно в лес. Как-то ему подвалило счастье: убил кабаргу. Обрадовался. Завалил ее на плечи и понес домой. Идет, шатаясь от усталости. Присесть нигде не хочет: дома ждут. В одном месте запнулся о камень, упал. Отлежался немного и снова в путь собрался. Стал поднимать кабаргу с земли, а из-под нее — какой-то желтый камень в глаза ярким светом ударил. «Что бы это могло быть?» — удивился охотник. С трудом поднял его. «Такой маленький, а весит, как большой», — продолжал удивляться Анчи, рассматривая необычную находку. И вдруг вспомнил... В далеком детстве еще это было. У них в аиле валялся небольшой, меньше детского кулачка, такой же желтый камень. Его так вычистили ребятишки, что он даже ночью светился. Как-то заехал к ним темичи¹. Высокий, жирный и злой, как черт. Перешагнул порог аила и заорал на отца:

— Теперь ты, Елдон, не отвертись от меня. Ячмень брал у бая на толкан? Брал. Телку брал? А где твой соболя? Пятьдесят шкурок за тобой. Почему не несешь?

Отец побледнел. Испугался. Дрожащим голосом стал просит темичи:

— Повремени немного. Охота еще только началась. Отдам. Клянусь своими детьми, отдам.

— Плохой ты человек, Елдон, — пожурил отца темичи. — Врешь и врешь. Разве можно тебе верить? Нет. Хватит. Уведу твою старшую дочь. Пусть работает у бая по хозяйству, пока долг не отдашь...

Оймок услышала это, заревела. Отец развел руками, тяжело вздохнул.

¹ Темичи (алт.) — сборщик податей и долгов для бая.

— Вот так, — сказал темичи, вставая с чурки, на которой сидел. — Это последнее слово бая...

И вдруг увидел у костра желтый камень. Подошел, поднял его с земли. В руке приброеил.

— Откуда это богатство у тебя, Елдон?

Отец горько усмехнулся:

— Богатство... — и вздохнул. — Нашел на охоте. Принес ребятишкам на забаву.

— Дурень ты, Елдон. Настоящий дурень, — хищно блеснул глазами темичи. — Да знаешь, что ты нашел? Золото. Этот камешек всех пятидесяти соболей стоит. — Он с жадностью смотрел на камень.

— Ладно, — сказал он. — Возьму я его себе. А твой долг отдам баю. Правда, я, кажется, переборщил немного. Не стоит он, пожалуй, пятидесяти соболей. Да уж выручу тебя, красив шибко...

— Смеешься, темичи, — не поверил отец. — А долг я отдам, отдам...

— Вот чудак-человек. Дело говорю. Это — золото. Правда, кажется дрянное золото, но хочу тебя поддержать. Согласен?

Обрадовался отец, когда понял, что не шутит темичи.

— Возьми, пожалуйста, друг. До самой смерти не забуду.

— Ты покажи это место, Елдон, где такие камни роятся, — попросил темичи. — Может, там и получше есть.

— Я уж и забыл, — почесал затылок отец, вспоминая.

— Вспомни, обязательно вспомни, Елдон, — наказал темичи и уехал.

— Золото! Неужели и этот камень... тоже? — загорелся Анчи. — И блесит так же, и тяжелый... Если только золото... — Дух захватило от радости у бедного охотника. — За такой кусок сколько можно баранов закупить. На всю жизнь хватит.

Он с благодарностью посмотрел на убитую кабаргу.

— Это она принесла мне счастье, — проговорил Анчи. — Она указала мне это богатство. Значит, не хочет, чтобы съели ее.

Он постоял в нерешительности около нее и решился:

— Закопаю. Пусть ее кости будут вместе. Она этого хочет.

Закопал кабаргу Анчи и побежал домой. Вот уже и знакомая долина показалась. Тут опомнился: разве золотом этим будут сыты дети? Свернул на тропу и пошел в ближнюю деревню. Зашел в крайнюю избушку к знакомому русскому плотнику.

— Как думаешь, Петро, сколько мне за этот камень баранов просить?

Повертел тот кусок золота и отдал обратно Анчи.

— Не знаю, друг. Никогда в руке не держал золота. Говорят, если б не было в мире золота, все люди счастливее жили. Много крови из-за него пролилось на свете.

— Не говори так, Петро, — обиделся Анчи. — О какой крови ты говоришь? Мне бы с десятков баранов, чтобы прокормиться до весны, до кандыка хотя бы. А ты кровь...

Пошел Анчи по стоянкам. Всюду одно горе:дохнет скот. Шкуры на изгородях виснут. Есть нечего становится в каждом анле. Одна чага и осталась, которую пьют вместо чая.

— Иди, Анчи, иди. Торгуй своим золотом в другом месте.

Много стоянок обошел Анчи, нигде даже ягненка не дают за его самородок. Отощал совсем охотник. Идет, качается от ветра.

— Возьмите хоть за пару ячменных лепешек, — протягивал свое золото Анчи, но все от него отворачивались.

Подошел он к огромному озеру. С трудом забрался на скалу и бросил тот дорогой, никому не нужный камень в воду.

— Возьми ты его, этот проклятый самородок. Ничего он не стоит, а говорят, где-то в мире из-за него люди кровь проливают. Будь оно проклято, дешевое золото.

Постоял, плюнул вслед всплеску и пошел к тому месту, где зарыл убитую кабаргу.

...За каменным притором, который легко и грациозно обогнул «Алмаз», ударил откуда-то из ближайшего ущелья холодный ветер. Взырошилась Голубая падь, мраморные плиты воды зашершавели, будто прошлись по ним наждаком. Исчезли солнечные искры. Начался «ледолом». Белые, вспененные барашки, похожие отдаленно на шугу, ударили по бортам теплохода. Вздохнула падь могучей грудью. Заколыхалась беспокойно, взвол-

пованно, словно не стало вдруг хватать ей воздуха... «Алмаз» легко вздымался и падал, зарываясь носом в кипящую воду. Падал, но упрямо шел вперед. Рулевой, дюжий загорелый матрос, крепко держал штурвальное колесо. Оно проявляло явное беспокойство. Металось вверх, вниз...

— Не нервничать... Не нервничать, — приговаривал матрос, с силой удерживая его в руках. — Спокойно. Инфаркт можно нажать. Спокойно.

И вдруг ветер стих. Будто его обрубили. И снова стекольщик «Алмаз» режет спокойные, голубые плиты воды.

...Где-то здесь, у этих берегов, притаилась та ночь. Осенняя, с ледяными заберегами, с пронизывающим до костей ветром.

...В Чолушманской коммуне ждали баркаса с «большой земли». Он вез семена. Полушубки. Пимы. Несколько шалей для девчат и куса три сатину. Ждали по-сменно, отряжая караулы на берег. А баркаса все не было. Верные люди были отправлены с ним. Надежные, крепкие. А все нет и нет их. Прошел месяц.

В одну из штормовых ночей выбросила Голубая падь на берег обломки баркаса...

Ни семян. Ни обуви зимней. Ни одежды. В коммуне жили девчонки. Они так ждали обещанных полушалков.

Подыграла бандитам Голубая падь...

Я смотрю, как солнце меряет глубину озера. Как раскалываются под его лучом голубые глыбы, а в глазах — коммунарские девчонки...

Вон там, на пристани, — не те. Шумные, горластые, с обуглившейся кожей.

— Почему у него нет ни приливов, ни отливов? — спрашивает одна, с острыми оголенными ключицами. — Ведь почти что море. Около семидесяти в длину и шесть—семь в ширину.

— А куда ему отливаться? На скалы, да? — восклицает другая.

— Все равно куда...

— А по-моему, потому, что оно несоленое, — говорит третья. — Вот и все.

Смеются. Потом спорят о предстоящем маршруте похода. И все спорят, спорят... Словам не верят. Все хотят попробовать на зуб.

А мальчишки сидят на каменных плитах с удочками. Один говорит:

— В Иогачском леспромхозе, во-он, что на том берегу, запустили мальков омуля. Приживутся?

— А то нет? — отвечает ему другой. — Тут не хуже вода, чем в Байкале. Может, еще и лучше.

— Запустить бы сюда всех-всех рыб, — мечтательно произносит третий. — Они бы тут выводились и шли вниз по Бии, а потом в Обь. А из нее во все реки...

— Рыбий откормсовхоз устроить? — недоверчиво тянет первый.

— А что. Пусть. Разве нельзя?

Поверхность воды прочертила, будто ножом, какая-то шустрая рыбина. Ребята вздрогнули.

— Ускуп или шука? А?

— Небось, жрет тех мальков, ребята! Давайте акваланги наденем и понаблюдаем в воде...

Эта мысль, видно, всем понравилась. Мальчишек как ветром сдуло с берега...

Заботливые. Пытливые. Может, среди них и потомки славных коммунаров?



ТРИ ПОВЕЛЛЫ О ЧАБАНЕ

Повесть первая Костер

Помните: сероватая искристая мгла стояла над степью всю зиму. А зима представляется как один день, запекшийся где-то в памяти. Посреди снежного поля — одинокая юрта. А вокруг — снег, снег...

— Побереги костер, Джолтой. Остаешься хозяйкой...

Это мать. Это ее голос. Из того далекого прошлого, когда Джолтой было не более пяти. Ушла мать с отарой

в степь. И отец ушел. Вот лохматая от скачущей выюги Уландрыкская долина впивается холодными звенящими иглами снега в задубевшую кочму юрты. Гудит, как бубен, юрта. Вздрагивает от ветра.

Неуютна степь в такую пору. Страшна. Колюча. Ты успокой маленькую сестренку, Джолтой, и поддержи костер. Без него — беда. Без него ворвется под твою шубенку безжалостный ветер. А мать и отец? Где они наберутся тепла на завтрашний день, может быть такой же хмурый и неприветливый?

Держи костер, Джолтой.

Он друг чабана... Рыжий ласковый друг. И собеседник хороший, как настоящий мудрый аксакал, хотя никогда не стареет. Хороший добрый друг. С ним можно вернуться в детство. Можно помечтать о будущем...

Джолтой Джекенова... Это ваши слова... И еще, мне помнится, говорили вы об утренней звезде Тан-Чолмон. Да, это друзья из далекого детства. С того самого времени, как только помнит себя Джолтой. Как-то вышла на рассвете из юрты и ахнула: прямо за кошарой горела, переливаясь в белых искрах, утренняя звезда Тан-Чолмон. Это как в русских сказках Жар-птица. На цыпочках подошла Джолтой к кошаре и долго, замерев, смотрела на ее трепетное сияние.

«Ты ко мне пришла? — доверчиво прошептала девочка. — Хорошо. Я к тебе буду выходить каждое утро. Только ты не прячься. Мне хорошо с тобой».

...Мать сказала: Тан-Чолмон ведет за собой солнце. Кто дружит с ней, тот дружит с солнцем...

И позднее уже, значительно позднее, снова о костре: — Джолтой, обсушись у костра... На тебе сухой нитки нет, — говорит мать, старенькая и уже бессильная.

А Джолтой — чабан. Она только что вернулась с отарой. И на ее ресницах и на опушке шапки блестят, заодно переливаются, коралловые серьги снежинок. Смеясь, тянется она покрасневшими руками к костру. Тот, словно верный пес, облизывает их красным горячим языком. Молодая пастушка говорит с матерью, а обращается только к костру:

— Все в порядке. Все хорошо. Только ты скажи мне, эне: это опасно, пасти в устье Юстыт?

— Опасно. Там всегда глубокий снег, дочка. Недалеко это место Мертвой долиной зовут.

— Ну, а если притоптать снег? — лукаво подмигивает костру Джолтой.

— Да как же на одном коне притопчешь его? — недоверчиво говорит мать. — А потом Мертвая... Боязно среди этих холмов.

— А если прогнать там раз да другой, туда-обратно, снова туда-обратно, гурт сарлыков?

— Где ж их взять, дочка? — всплескивает руками старая чабанка и с любопытством смотрит на дочь.

Джолтой шумно хлопает над костром ладошками и весело смеется.

— А тут Кылу Уразмаев с сарлыками был. Я ему говорила: «И что это у тебя за животные такие, Кылу, а еще говоришь, сильные, как кони. Ходят они у тебя по буграм, будто малосильные овечки, а вниз, к устью Юстыт, боятся спуститься». — «Ничего, — говорит, — не боятся, захочу, и спущу их туда». — «Ну, захоти, пожалуйста». — «Не веришь! Ладно». И во весь дух на коне давай гонять сарлыков. Раз прогнал. Другой раз. «А теперь, — говорю, — хватит. Убирай своих зверей на ко-согор!». Он послушался, а я спустила в долину овечек... Трава — во! Вся на виду.

Мать с откровенной боязнью смотрит на дочь. О чем она думает в этот миг? Джолтой знает и, тихо посмеиваясь, тянется к костру.

— Говорят, Джолтой... О-ы-ый, старая коза, — старушка хватается за голову. — Ничего я тебе не сказала раньше... ..Беда будет, Джолтой!

— Какая же беда, эне?

— Большая будет беда. — Качаясь из стороны в сторону, мать присела к костру и, выхватив из него дрожащими руками уголек, сунула его в трубку. Пламя костра лизнуло ее седую прядь и откачнулось к девушке.

— Не балуйся, — отирянула Джолтой, замахав руками на шаловливое пламя. «Соскучился. Играет. Ах, дурачок, без тебя ведь в степи действительно скучно... Но послушай, что говорит мать... Что-то я не так поступила. Опять эта загадочная Мертвая долина...»

— ...Давно старики обходят это место. Плохое оно. Кости человечьи находили там не раз. Шайтановы это кости. У дедушки Учура овцы наелись там травы, а через неделю все подохли. Ай, старая коза, что я наделала!..

Джолтой смотрит на костер, пламя которого то жел-

той косынкой взметнется кверху, то с треском разорвется на части и начнет качаться из стороны в сторону, пугая своей огненной гривой. А Джолтой, кажется, смеется над словами матери. И ей весело. Но она хмурит брови и делает ему выговор. Нехорошо смеяться над пожилыми людьми.

— Успокойся, эне, — говорит она. — Что могут сделать нам шайтановы кости? Пусть старики обходят Юстыт, а лучше места я не вижу. Посмотришь, какие овечки будут у нас к весне...

— Вот Кылу угнал же сарлыков на косогоры, — укоризненно проговорила мать.

— Он просто уступил мне это место.

Мать тяжело вздохнула.

— Ты не знаешь Кылу... Он понимает, в чем дело.

— Эне, да он же комсомолец!

— Э-э, дочка. Разве комсомольцу во вред осторожность!

— Ах, эне, эне... Так вот и жили, век всего боясь, всего опасаясь. Как это, наверно, трудно!

Джолтой смотрит в костер, на его озорное веселое пламя и думает: «Он поддерживает меня. Надо быть такой, как он. Он смелый и все тепло свое отдает людям».

Вспоминая сейчас о своем детстве, знатная чабан Кош-Агача Джолтой Джекенова не может не вспомнить о первом своем друге — костре.

— Почему-то кажется, — улыбаясь, говорит она, — его хваткой я была заражена тогда. Хотелось быть такой же горячей в делах и смелой в начинаниях. Тогда вот пошла против суеверия и глупых измышлений о Мертвой долине. Что? Да, конечно же, в ней нажировались овцы в тот год... И первую благодарность получила тогда от правления колхоза. А костер... Как видите, он и сейчас самый верный друг пастуха. Тан-Чолмон? Мне хочется всю жизнь идти за ней. Ведь это все равно, что идти за солнцем, потому что она ведет его за собой.

...У подножья Чуйских альп плавился июньский закат. Черным оком колюче, недобро поглядывало на чабанскую юрту темное, холодное в эту пору высокогорное озеро Кара-Кёль. Где-то за ним ходило босоное детство Джолтой. Маячила былинкой на ветру первая мечта: стать настоящим чабаном.

Новелла вторая

В поиске

Был вечер, и не было вечера... Над Чуйской степью плыла мелодия песни, гудела домбра у анла Чаймардана Абугалимова. Звонкий, даже пронзительный голос певца обшаривал, зазывный, всю окрестность, приглашая запоздавшего путника к костру. Слушает Ак-Тад голос доморощенного певца. Слушают тальник и карагана по берегам Чуи. Джолтой слушает, опустив на луку седла поводья. И солнце хоть и успело уже нырнуть за Чагат-вершину, а лучами все еще весело приветствует певца. Светлый лучик колобродит где-то и под самым сердцем Джолтой. От песни? От настроения? Может быть... А настрой оттуда, из колхозной конторы. Только Чаймардан своей песней подогрел его.

—...Ты, Джолтой, не стесняйся, приезжай в Дом животновода, на Чаган... Там тебя все ждать будут, — слышит она голос заведующего фермой. А удобно ли ей, совсем еще молодой пастушке, учиться зоотехнии вместе с аксакалами?

— Удобно, удобно... Не старое время, Джолтой, — заверяет зоотехник и добавляет: — Между нами говоря, некоторым из них не стыдно будет и у тебя поучиться. Не скромничай, Джолтой. Надо правде смотреть в глаза...

Так и сказал. А правда была такая: у молодого чабана Джекеновой второй год по всему Ак-Талу высшие показатели по отаре. А показатели измеряются всего тремя основными факторами: весом овцы, шерстной продукцией ее и воспроизводством.

— Но у тебя, Джолтой, есть еще и четвертый, особый фактор: тяга к совершенствованию, к поиску. Не глуши в себе этот особый фактор, — напутствовал в дорогу заведующий фермой, человек пожилой, бесхитростный, добрый, но любящий иногда говорить загадками; вот и на прощанье неожиданно добавил, заглядывая ей в глаза: — Так что, Джолтой, не всегда от дважды два четыре получается. Бывает и пять.

Это, видно, от доброты его идет... А пять, может, и так... Разве она не заглядывает всегда в свою мечту: стать по всем статьям настоящим животноводом?

...А от Чаймардановой юрты все еще летит песня, вол-

нуя и тревожа чем-то... И вдруг ранит Джолтой... Девушка слышит свое имя в этой песне. Затаила дыхание, приостановила коня и, улыбнувшись, вдруг успокоилась. Может же такое показаться! А если и не показалось, то мало ли на степи девушек с ее именем. Были они и раньше. А песня ведь долго живет, не старясь.

Летит песня. Звенит, звенит домбра, а в светлую мелодию звуков вплетаются воспоминания.

...Тогда, в те годы, ее первую рядом с собой в зоотехническом кружке увидели аксакалы. Увидели и сделали вид, что не узнали. Гордые, самолюбивые старики. Это ведь про них говорят в народе: шапка аксакала — выше вершины Чаган-горы... Поет Чаймардан. Славит богатство родного Ак-Тала. Людей его. Их мечты. Ревниво прислушивается к своей мечте и Джолтой. Да, она тоже хочет доброй славы для своего села. Делают ее люди. Такие вот, как она. Пусть только мечта не будет недотрогой. Пусть поскромнее будет, а Джолтой постарается.

...Не предполагала тогда Джолтой, что скоро, очень скоро позовет ее жизнь в другое село, в Мухор-Тархату... Мечта... Она хоть и парит иногда в заоблачных высях, а от земных дорог — никуда. Выбирает в конце концов одну из них. «Значит, из Тархаты моя коренная дорога в жизнь, — подумала тогда Джолтой. — Какой-то будет там моя звезда!»

Новелла третья

Особый фактор

Уже в первый осенний праздник в Тархате — День животновода, когда принято широко обнародовать итоги года, называть и чествовать лучших людей колхоза, новосел из Ак-Тала Джолтой Джекенова заставила обратить на себя внимание ветеранов колхозного производства.

— Ее показатели по отаре, — рассказывает бывший заведующий фермой Бухаров, — были настолько необычными для наших условий, что мы усомнились в них (не ошиблись ли в подсчетах). Однако имя ее было названо в числе лучших.

Старейший чабан, сосед Джолтой по стоянке, Кокай Ногойманов вспоминает:

— Весна была суровая. Снег. Ветер. Слякоть. Решил попроведовать новосела. Встретила у костра. Чуть не обиделся: «Почему в юрту не приглашает?» Слышу, а в юрте разноголосый ягнячий крик. Вот оно что... Выжили хозяйку. Такая она. Сидит у костра со старой, немощной матерью, а в юрте ягнятишки хозяйничают. Тогда, помнится, я подумал: когда у человека на первом плане забота об общественном, артельном даже в ущерб своему здоровью, какой же красоты душевной должен быть этот человек? Рассказал об этом на правлении колхоза. Задумался председатель.

— Сколько можно испытывать героизм наших людей? — говорит он. — Надо строить тепляки-ягнятники. Жилые дома для самих чабанов...

В колхозе развернулось крупное строительство. Сотни тысяч рублей не пожалели вложить в это дело тархатинцы. В долине Снежного барса, по речушке Кок-Озек, за перевалом — в Чинбажи — всюду застучали плотничьи топоры. Один за другим вырастали жилые помещения на стоянках, кошары и дворы для скота. Как на дрожжах росло хозяйство колхоза — отары овец, коз-пухоносов, табуны яков, лошадей. Круто повернули дело на улучшение племенного дела. Беспокойный, энергичный и настойчивый в делах зоотехник, молодой коммунист Василий Тадыкин присматривается к людям. Поддерживает любую творческую искорку в них. Вот молодой ищущий чабан Михаил Шартланов предложил отделить коз от овец. Тадыкин подумал, приброесил в уме выгоду этого предложения. Разные это животные по своим биологическим данным. Факт. Облегчатся бонитировка, отбор. Поддержал чабана. Настоял на правлении провести в жизнь начинания чабана. Первый же год раздельной тебеневки показал, что дело это стоящее. Легче работать и зоотехнику и ветработникам, да и чабану меньше мороки стало, когда ушли из отары эти непоседы козы.

— Мы решили держать курс, — рассказывает Тадыкин, — на разведение полутонкорунных овец и коз-пухоносов. Определился желательный тип овцы, большой вес, богаче руно, тонина шерсти в нужных нормах. Мы можем смело идти на это. В этом наша перспектива. А вы знаете, что Джолтой говорит? «А на пимы откуда шерсть возить будем? Может, из Монголии? А шубы из

чего шить?» И она права. Нельзя затирать и нашу простую сибирскую овечку.

ИЗ БЛОКНОТА КОЛХОЗНОГО ЗООТЕХНИКА

Верх-Кок-Озек. Стоянка Джекеновой. И в этот раз удивила и порадовала чабан...

— Двенадцать овец, — говорит она, — не подходят по длине ости и по тонине шерсти в породную группу... Четыре — по весу.

— Откуда ты знаешь?

— Проверьте.

Легко сказать — проверьте. Пятсот с лишним овец в отаре. Три дня сидел на ее стоянке с бонитировкой. И чабан тут же. Спокойна. Уверенна.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ЗООТЕХНИКА НА ПРАВЛЕНИИ КОЛХОЗА

«На одну овцу ошиблась Джекенова. Семнадцать вместо шестнадцати выбраковали в обычную отару. Она настоящий зоотехник и не уступит ни одному ветработнику по знанию дела. С такими людьми, как Джолтой, я уверен за перспективный план».

ПОЭЗИЯ ЦИФР

1960—1966 годы. Со стоянки Джекеновой ушло 5 полноценных отар по пятсот с лишним полутонкорунных овец в каждой. Шуба овцы весит до четырех с половиной килограммов. Богатая шуба. О такой шубе мечтал колхозный зоотехник! Около трех тысяч животных пропустила через свои умные, добрые руки чабан из Кок-Озек.

...Помните дружеское напутствие заведующего фермой из Ак-Тала? Он сказал: «В тебе есть и особый, четвертый фактор — тяга к совершенствованию, к поиску». Не это ли, Джолтой, помогло тебе? Может, в том самом «четвертом» факторе все дело? Джолтой, тихо смеясь, ничего не сказала в ответ. Отвернулась, взяла в руки какую-то книжку. Мы осматриваем ее библиотечку — здесь в основном зоотехническая литература, справочники, инструкции. Правда, есть томик стихов местного горно-алтайского поэта.

— Я до сих пор дружу с Тан-Чолмон, — говорит она загадочно. — С утренней звездой...

Она права — ведь это тоже поэзия... Лирика сердца, души ее. И мы представили себе, что весть о награждении ее высшей правительственной наградой — орденом Ленина — могла дойти до ее стоянки именно в этот ранний утренний час, когда Джолтой приветствовала с зарей свою любимую звезду. Она подтвердила это, сказав:

— Видите — кто дружит с Тан-Чолмон, тот дружит с солнцем.

Завидная доля — дружить с солнцем.

* * *

...Все это помнится. Все это было. Только трудно об этом говорить, потому что было все сложнее. Значительно сложнее. Ну как, чем объяснить вот ту какую-то подспудную силу, которая все эти годы звала, и не просто звала, а прямо требовала идти вперед: думать, раскладывать по мельчайшим, порой еле приметным деталям свою работу, свой первый успех. Может, из этих неприметных деталей вырос постепенно опыт?

Смешно вспоминать... На стоянку примчался как-то сам секретарь райкома комсомола. Горячий, нетерпеливый парень засыпал десятками вопросов. Мы, говорит, будем обобщать для молодых чабанов наш опыт. А говорить разве можно обо всем, из чего складывается это самое чабанское мастерство? Это просто невозможно.

— Главное здесь, видно, в том, что ты просто не можешь представить себя на другой работе. Что все, чего ты достигла, — это частица тебя, и вся твоя жизнь из этих самых живых частиц.

А вот тот день... Он горит, как огромный букет цветов. В Кош-Агаче мало цветов, а если есть, то в них почему-то мало солнца. В Горно-Алтайске видела другие. На экспериментальной базе горного садоводства. Тогда проходило большое собрание передовиков сельского хозяйства. И в саду в этом побывали. Другой цветок, кажется, страшно в руки взять — обожжет или тут же завянет. Так вот тот самый день, когда вручали орден Ленина... Что-то похожее от того букета осталось в памяти. Почему-то вспомнился первый костер из далекого детства. Именно тот, первый, а не те, что ежедневно у твоих ног. И мать вспомнилась. И отец. И недоверчи-

вые взгляды тех аксакалов, с которыми еще там, в Ак-Тале, училась зоотехнии... Почему-то подумала вдруг: это они помогли как-то по-своему проложить новую дорогу к большому мастерству чабана.

— Мне вручают орден, а я шепчу: «Спасибо... Спасибо». Шепчу своему детству, тем аксакалам, а все это заслоняется одним большим и нежным, как мать, словом — Родина. Это ей... За ее внимание к человеку гор кричит большое спасибо сердце...



ГДЕ ЦВЕТУТ ПАНТЫ...

1. „Покормушка“

Под Талицей, высокогорном поселке мараловодов, несколько речушек сходятся. Такой галдеж от них, что ничего больше не слышно. Шумят, лопочут по-своему на обточенных гладких камнях. Небось, рады, что на простор из темных ущелий вырвались. И то — путь немалый проделан ими. Десятки никем не меряных верст по каменным торосам пройдено от самых ледяных белков. Вот и лопочут, новостями делятся, а наговориться так и не успевают: перехватывает их Чарыш по дороге, едва они в долине показываются. Они еще кипят у берега десяток-другой метров, а потом, покоряясь силе, смиряются и расстаются со своими прежними именами. В этих местах зеленые ветры дуют. Это хорошие, добрые ветры. Особенно ранней весной. Они распечатывают на кустарниках и деревьях почки, и те, словно пряча натуго свою, тотчас набрасывают на свои плечи голубоватую дымку. Так ткется весенний наряд.

Горы тут высокие, и от подошвы до вершины покры-

ты деревьями. Внизу — березовые рощи. У рек — заросли ивняка и черемухи. А повыше, на скальных выступах, пихты и ели.

Талица — в раструбе ущелья. Вокруг высокие горы, а под ними — речушка.

— Самые места маралы у нас, — говорит известный талицкий мараловод Герой Социалистического Труда Федор Петрович Кудрявцев. — Высокие, сухие. Сейчас сплошь и рядом каменные ветви находим...

Мараловод не скажет — рога. Он скажет — ветви... Когда наливаются такая ветка, она живая. Он говорит: «Пант зацвел...» А цветет он в весеннее благодатное время. Предел цветения тоже имеет. В июне пора срезки цветка. А он действительно пышный, этот цветок — пант, покрытый сероватой бархаткой.

— Задача наша — не допустить затвердения панта, — говорит Федор Петрович. — Вот тут свое умение и надо показать мараловоду — определить точные даты снятия панта у каждого рогача. А их вот у нас около шестисот. И перворожек 58 голов... Перворожки — это молодые рогачи. Их пант имеет 3—4 ветки. Легкий пант. И план на них пониже. А возни с ними побольше, чем со взрослыми рогачами.

Федор Петрович Кудрявцев начинал свою работу в парках с пятнадцати лет. Это была небольшая ферма Кайтанакского совхоза Усть-Коксинского района.

— Заметили? Мы, мараловоды-то, все почти коксинские университеты прошли, — смеется Федор Петрович. — Вот у Фатяя Попова, из Карагая, шесть сынов на маральнике трудятся. А старший-то, Петро, уже орден Ленина имеет. Высоко отмечен Петро. Сейчас отца сменил на Карагайской ферме. — Подумав, смеется: — Да разве его сменишь? Как кедр еще... Смолист, силен. . не уходит из парка.

О Федоре Петровиче то же самое можно сказать: за пятьдесят, а силен, смолист. И есть что-то в нем от этих каменных граней.

На скалу смотришь и видишь ее скулы — литые, навечно годами сварены. Хилому да слабому духом она непреодолимым препятствием кажется. Коренастый, крупноплечий, с лицом, вытесанным из розового мрамора, мараловод чувствовал себя хозяином этих мест. И с этими крутяками он на равных. В это верилось сразу.

...На вершинах гор перьями жар-птицы трепетно вспыхивали отблески зари.

— Себя я учеником считаю Фатей-то, — говорит Кудрявцев. — Начинал тогда я, а он уже в славе ходил... Абайский совхоз гремел по выходу пантовой продукции.

После войны потребовались мараловоды и в соседний район, Усть-Канский. Фронтвик-разведчик Федор Кудрявцев принял Талицкую ферму, а в 1968 году ему было присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда. По шесть с лишним килограммов посушил тогда пантов от каждого рогаца Федор Петрович. Это много. Это, считай, на килограмм выше планового каждый пант потянул.

Тогда Фатей Петрович Попов сам съездил в Талицу поздравить своего ученика.

— Зима, помню, очень уж сподручная была... Кормов — в достатке, — вспоминает Федор Кудрявцев о том счастливом годе. — Пант хорошо налился...

...Горел костер. Над урочищем плыли подкрашенные закатом облака. Истории, похожие на легенды, всю ночь звучали у костра. А между тем это были будни людей не совсем обычной профессии. Десятки лет провел в маральных вольерах Герой Социалистического Труда Федор Кудрявцев. И каждый день не походил на предыдущий.

...Кто-то подстрелил маралуху. Дикую. Остался неумышленныш-мараленок. В то время было немало разговоров о том, что марал — это вовсе не зверь. Что достаточно поработать с десяток лет с одним стадом — и маралы станут как домашние коровы. Федор в ту пору был совсем еще молодым парнем. В парке работал совсем мало. Повадок своих питомцев почти не знал. И верилось, что так оно, пожалуй, и должно быть. Приручают же даже змею, не говоря уже о животных...

Мараленок смело подошел к человеку. Он был истощен и едва стоял на ногах. «Возьму его домой и выращу, — решил Федор. — На нем и испытаю привязанность к человеку».

Коровье молоко мараленок пил с удовольствием. Скоро поправился и, как теленок, ходил за коровой. А та его даже облизывала, принимая за своего. Мирная картина! Весной он пошел со стадом, а вернулся один.

— Дичится... Норовит уйти от стада, обособиться, — рассказывал пастух.

Интересно: уйдет или нет?

За зиму не покидал пригона. Ел сено, концентраты. Справным стал. К весне будто затосковал. Все на горы посматривал. Прислушивался. Часами мог стоять и смотреть в ущелье.

— Тоскует, — говорила жена. — Убежит...

— Убежит, — подтверждали мараловоды. — Зверь ведь. На свободу тянет. Это верно. А не выпустить ли его к нашим маралам? Родня ведь. Примут.

Так и сделал. Отвел в маральник. Ожил, веселым стал мараленок. Каждое утро, где бы ни был, сбегал к воротам и встречал Федора, как старого знакомого. Подойдет, ткнется мордой в руки и ждет: что даст хозяин? К таким подачкам приучил его Кудрявцев. То кусочек сахара сунет ему, то вкусную хлебную корочку.

Красивым рогачом вырос марал. Цыганом называли его. Вот подошла пора и панты снимать. В станок зашел без особых понуканий. Даже с каким-то любопытством. Привык, похоже, доверять человеку.

— Снимаю панты, — рассказывает Федор Петрович. — Чувствую, как мелко-мелко дрожит весь... Взяли пант. Снял с его глаз повязку, а там не глаза — сгусток крови. Выскочил из станка, отряхнулся и вдруг, вижу, идет ко мне. «Ну что, дурашка... Больно? Так надо, брат, так надо... А ты гордись своими пантами. Килограммов пятнадцать будут». Слушает. Пофыркивает сердито, а сам ближе подходит.

Пошарил в карманах мараловод — ничего нет. Хотел как бы извиниться за причиненную боль. А марал подошел и вдруг поднялся на задние ноги... Смекнул мараловод: драться хочет. И вовремя смекнул. Тот уже передними ногами заработал. Увернулся. В сушилку закрылся. Смотрит оттуда в окошко, а обиженный все не уходит. Крикнул помощнику, чтобы тот бичом его прогнал. А он и на помощника. Совсем озверел, лезет, молотит в воздухе ногами. Вот положение! Кое-как, вечером уже, в темноте прокрались к коням да верхом и спаслись от него.

На другой день — та же история. Те, которые неручные-то, не подходят, боятся человека. Этот же «покор-мушка» еще издали заметит и бежит навстречу. На бой вызывает.

— Злой стал. Вот я и думаю: стоит ли так близко схо-

диться со зверем? Уж очень нахальными становятся. Нет, самое лучшее, наверно, чтобы соблюдали положенную субординацию.

— А с тем что было, с Цыганом?

— В «басмачи» записался... В дезертиры. Перед съемкой пантов перескакивает через ограду — и в горы... Да еще и друзей сговорит.

— Не простил. Оскорбился.

— Крепко. Не совсем оно, оказывается, сподручно входить на «ты» со зверем...

2. „Девичник“

Мы в парке, который мараловоды называют ласково девичником. Сюда отбиты матки, молодые маралухи. Парк огромен, сотни гектаров занимает. Мы поднимаемся на лошадях в гору. Сильные низкорослые лошади привычно и совсем, кажется, без особого напряжения шагают по тропе. Федор Петрович внимательно осматривает высокую ограду. Это теперь его «прямая обязанность». Он — егерь.

— И так изо дня в день?

— Почитай, что так, — кивает Федор Петрович. — Только, чтобы объехать вокруг всего маральника, теперь двое суток надо потратить.

Мы обращаем внимание на то, что в «девичнике» совсем почему-то не видно взрослых маток.

— Прячутся, — говорит Кудрявцев. — Морока с ними егерю: так запрячет свое чадо, что с ног собьешься, пока рассекретишь ее подпольный роддом.

А найти надо. Может, помощь новорожденному требуется... Обязательно разыскать надо.

Огромная гора, покрытая густым пихтачом, упирается вершиной в облака, разрезает их и нанизывает, будто хлопья пены, на острые сучья деревьев. Вдоль горы, от самого «белка» до подошвы, глубокая морщина — впадина. Где-то на дне ее белеет струйка ручья. Валун — камень высотой в двухэтажный дом — свисает над этой впадиной. А вокруг по склонам — чаща, бурелом, колodник.

— Вон смотрите: у того камня маралуха стоит на страже, — указал кверху на серый обточенный ветром

осколок скалы Федор Петрович. — Следите за ее поведением, а я поеду к ней...

Маралуха спокойно пощипывала траву у камня, но, заметив приближавшегося к ней всадника, подняла голову и настороженно посмотрела на него. Вот она прошла к камню, но тут же вернулась на полянку, однако уже спокойно есть не могла. Едва опустит голову, как тут же поднимает ее и с беспокойством смотрит на верхового, будто решает: что ему нужно? Тревожное чувство уже не покидало ее. Она снова вернулась к камню, потом стала кружить вокруг и вдруг сорвалась с места и легкой трусцой побежала навстречу ему. Не добежав метров с десятка, круто повернула вправо и торопливым шагом, поминутно оглядываясь, устремилась к вершине горы. Она звала за собой. Она явно не хотела видеть у того самого камня непрошеного гостя. И конечно же, опытный мараловод разгадал ее уловки. Он за ней не поехал, а круто свернул к камню. Маралуха бросилась наперерез. Федор Петрович поднял коня в галоп и опередил ее. Он быстро обследовал подозрительное место и встретил разъяренную матку бичом и устрашающим криком:

— Дуреха! — кричал он. — Что я — съем, что ли, твоего сураза? А кто бирку ему повешает? Соображаешь? Ты вот лучше от беркутов хорони его. Нашла тоже место! Тут на этом камне самые беркутиные слеты бывают! Иди на караул, иди!..

Они разошлись в разные стороны. Вытирая лицо платком, Федор Петрович тяжело дышал. На щеках его пылали красные пятна.

— А я давно искал ее, — говорил он. — В вершине горы искал, есть там несколько расселин, а она в этот раз схитрила: не стала в трущобу забираться... Смотри ты, осмелела. Рядом с открытым местом разрешилась... А мараленок добрый. Шустрый. Увидел меня — под камень нырнул. Там вроде крыши такой образовалось.

Мы продолжали по извилистой каменной тропе подниматься вверх. Над головами, срезав верхушку горы, повисло подпаленное снизу лучами заходящего солнца розоватое облако. Где-то справа шумел водопад.

— А насчет беркутов — это верно? — кричу Федору Петровичу. Он останавливает коня. Я подъезжаю и тоже натягиваю повод. Пусть отдохнут кони.

— Это их лакомый кусок, — говорит он. Мы слезаем с седел. Разминаем ноги. — Только теперь-то уж не взять мараленка — подрост. Окреп на ногах. Входит в силу. Маралуха животное с понятием. Отелится — тут же, чтобы не привлечь зверя, замаскирует все следы и ведет свое чадо на новое место. И сама все время настороже. Ну, от беркутов отбиться может, со зверем — посложнее. Рысь в этих местах свирепствует... Медведи заходят. В прошлом году тронх маралух задрали. Пришлось двое суток на карауле стоять. Выследил, убил. Нынче не слышно пока.

Из-под увала на прилавок (так здесь называют ровное место на склоне горы) вышел табунок пантачей. Увидев нас, остановились.

— Дожди теплые прошли. Хорошо трава поднимается, — замечает Федор Петрович. — На прилавках уже наедаются. В лесу-то с пантами несподручно. За «цветы» свои боятся. Болькне они сейчас у них, боятся резко головой тряхнуть.

Он легко вскочил в седло, и мы тронулись дальше. Рогачи долго еще провожали нас настороженными взглядами.

— Не доверяют вам, Федор Петрович, — показываю в их сторону.

— Меня-то они далеко узнают, — улыбаясь, соглашается Кудрявцев. — Небось, думают: вот здесь безжалостный дядька заедет повыше и начнет шуровать оттуда своим бичом, сгоняя всех к «разлучнику»...

На Карагайской ферме Абайского маралосовхоза нам удалось побывать на срезке пантов. Горячая это пора для мараловода. С утра до вечера, меняя лошадей, он в седле. И не просто в седле... Как образно выразился тогда Фатей Петрович Попов — патриарх мараловодов Карагая, — летать по воздуху приходится с утра до вечера... Его ведь догнать надо, пантача-то... и завернуть суметь к «разлучнику». А кабы он один был, а то, считай, сотни их, а ты с двумя егерями... На гору вскачь — под гору вскачь. Не одну стремянную подпругу сменишь за день-то. К седлу, почитай, не привалишься — ноги на-вытяжку, упрешься в стремя и гоняешь... Кричишь, свистишь, бичом стреляешь. К вечеру только маячишь руками, сил нет слово сказать. Перехватит горло-то, си-пишь, как сыч, вот руками и машешь.

В «разлучнике» рогахи разлучаются со своими пантами. Отсюда и название.

3. Марал принимает „целебную ванну“

Ограда ломаной линией огибает одну гору, вторую, перехватывает широкую луговину в глубоком распадке и скрывается с глаз где-то в лесной чащобе. Она необычна, эта изгородь. Она похожа на крепостную стену. И не городится она, как обычная, жердевая, а рубится, как дом, в лапу. Оттого и получается ломаной линией, в ее звеньях — полуквадраты. Высота достигает двух—двух с половиной метров. В низинках — до трех. «Поровой» рогач (то есть в «самой поре», самый сильный) легко берет и трехметровый барьер, но происходит это редко.

— Через ограду его погонит разве только отчаяние. Например, зверь прижмет, — говорит Федор Петрович. — Тут и трехметровая высота не задержит его. — Подумав о чем-то, смеется: — А вообще-то нет особой нужды для риска — тут его подкармливают зимой, даже концентраты достаются. А где он их возьмет на воле? И все же... И все же были редкие случаи... были. Так мы особенно и не волновались: придут... побегают и придут. Вот, пожалуй, и еще один случай, когда он может «махнуть» через ограду, только уже обратно, в зону. Случаи такие были. Болтался один отчаянный рогач месяца три. До снегов гулял на воле. Потом стали находить следы у ограды. То в одном месте, то в другом. «Ну, пусть пошарится, — думаем. — Голод не тетка». Умышленно стали силос разбрасывать у ограды, концентраты... Не выдержал!

— Пришел?

— Меню привлекло.

...В довольно широкой впадине течет ручей. Местами берега его выбиты, а дно углублено.

— Ванны... Рогач — зверь предприимчивый, — кивает на эти ямы Федор Петрович. — Сам выбивает их... Осенью, перед гоном, принимает он грязевые ванны.

Мы об этих «целебных ваннах» слышали и от Фатеев Петровича Попова. Были в его Курдюмском маральнике. Стояла осень. Красивая печальная пора «бабьего лета».

Поселок Курдюм упирается постройками в изгородь парка. Всю ночь в лесу трубили маралы. Слышался треск сучьев и гулкий топот копыт по каменным тропам. До рассвета слышалось беспокойное движение на горных склонах, покрытых лесом. Горнили рогачи. В их трубном звуке, мелодичном, тревожном, прорывались властные нотки. Возможно, это был вызов сопернику. Поединки их бывают страшными. Сломая голову бежит марал навстречу сопернику. Сбиваясь, поднимаются на задние ноги, а передними, как цепями, бьют друг друга.

— Под ударом такого «цепы», — говорит Федор Петрович, — в щепки летит двадцатисантиметровая в отрубе лесина. А поединки рыцарские не только за подругу бывают. У этих самых «целебных ванн» тоже устраиваются ринги. Перед гоном марал старается согнать весь лишний жир. Он залазит в такую ванну и бьется в ней, истязая безжалостно себя.

— Выскочит, — продолжает беседу Федор Петрович, — в гору, пока на колени не упадет от усталости. Бежит, будто его кипятком ошпарили. Язык — набок. Из рта — клочья пены падают, а он все бежит... Потом снова — в ванну. Не терпит жира. На байрам свой выходит поджарый, буйный и бражный, как молодое вино.

Почти четыре десятка лет работает со своими необыкновенными питомцами Федор Петрович.

— Профессор своего дела, — говорят о нем с уважением в дирекции и парткоме совхоза.

— Ну, какой там профессор, — устало машет рукой знатный мараловод. — Я и сам не пойму: животновод я или зверовод? Вроде бы, зооветминимум по животноводству сдавал, а ведь ни я, ни сам главный зоотехник совхоза не скажет определенно, какой все же корм и режим больше на пользу идет при формировании «цветка»? Вот есть такая трава, маралий корень прозывается, а по-ученому левзеей зовут. Человеку этот корешок полезительный. Настои делают. Принимают его от разных там заболеваний. А когда к нему марал обращается? Доподлинно неизвестно. Байки всякие рассказывают охотничьи, будто раненый ел его рогач. Нашел специально, добыл копытом и ел, ел... Может правда, а может и вранье. Допустим, рану залечивал. Значит, при травмах. Ну, а еще когда, в каких случаях?

— А ищет?

— Ищет. Есть она, эта левзея, в парке. Смотришь — разрыто. Добывал корень. Листья валяются кругом. Корня нет. Когда он еще нужен ему?

— Взять бы да и развести у себя небольшую плантацию, — подаем мысль.

— Согласен. Но в огороде не растет левзея. А па гольцах надо присмотр иметь. Тут и заковыка...

— Есть же у вас, у мараловодов, какой-то свой экспериментальный цех... Ему бы и заняться.

— Насчет цеха — не знаю. Только есть где-то в Шибалинском оленесовхозе научная лаборатория. Ученые из Новосибирска наезжают. Вроде шефствуют.

— Ну и как?

— А никак. Десятки лет цифры подбивают, только нам пользы от этого ни на грош. Каждый своим опытом пробавляется. Небось, у Фатеев Попова — академия того опыта. Ему надолго хватит... Хорошо вот — девять сыновей у него. Есть кому наблюдения и практику свою передать... А так никто всерьез тем опытом в нашей области не занимается. Не обобщает. Лаборатория больше медицинскими проблемами, говорят, занимается. Пантокрин и прочее. Тоже, конечно, дело. А вот научно-го цеха такого по мараловодству и нет. А он нужен. Много вопросов есть таких, которые разрешения требуют. Ну, хотя бы вопрос с воспроизводством стада. Даже планируем низкий выход — всего 50 телят от сотни маралух.

— Ну, а выше бывало? — интересуемся.

— Есть примеры. И у меня есть. Помню, когда еще в Кайтанаке работал смолodu. Ферму новую организовывали. Выделили 20 маралух и одного рогача на всех. Два года стопроцентный отел был.

— А потом?

— Потом, когда маралух стало уже за тридцать — телилось все равно не больше двадцати.

— Значит...

— А то и значит, что это, похоже, норма для рогача. А другой, завидуящие глаза, с полсотни отобьет маралух и не подпускает соперника. А приплод так и есть — не больше 20, а то и 15. Вот ведь вопрос! Проверять надо. Изучать. А мы пока больше о кормах бодем. Да вот об этой городьбе — не свалилась бы местами. А может, без нее лучше было бы, а? Большие тыщи стоит она...

Федор Петрович напряженно всматривается в горы. Будто от них ждет ответа на волнующие вопросы мараловод. А кто он действительно: может, и не мараловод, а зверовод?

...Над Талицей быстро сгущались сумерки. Небольшая деревенька мараловодов погружалась в темноту. Из ущелий задувал мягкий, будто кошачья лапа, ветер. Чем мягче ветер, тем громче ручьи и птичий гай в прибрежных кустах. Еще виснет синим парусом будто вырубленный в немыслимой выси кусок неба, а в деревне уже вспыхивают яркие огни электролампочек. На отлогом склоне горы Кыма мелькают быстрые тени. Они пугливы, эти тени. Гордо вскинув головы, чутко всматриваются в гирлянды огней пантоносы. Блеснула где-то на вершине Кымы последняя зарница, и нам показалось будто высекались хлебозорами на горе золотые искры.

А может это панты цветут?



**ВЕТКА СТАРОГО
КЕДРА**

Давно это было. Так давно, что даже моя тяанам¹ охотно говорила об этом только тогда, когда приходилось ей досыта ячменной лепешки поесть. А так как это не каждый день случалось, то и вспоминала о том времени совсем редко. Вот в те далекие времена и откочевало несколько семей алтайцев в эту Курайскую долину. Хорошую травку для овец обнаружили в тех местах под самыми отрогами Актру. В горе жили недобрые боги, и люди боялись подходить к ней ближе чем на

¹ Тяанам (алт.) — бабушка.

день пешего хода. Это сейчас посмеялись над теми богами. А в то время всего боялись люди, потому что были сами детьми природы. И вот нашлись смельчаки — откочевали почти к самым ее отрогам. Не побоялись. Среди них и отец моей бабушки, Будый, был. Вон откуда наш сеок, племя наше, от смелых людей пошел. Это они первыми поставили свои аилы в том месте, которое теперь Кураем называется...

Все интересно, о чем говорит бабка Адыкенова. Потому около ее очока¹ всегда и людей много было. То, что она помнит из рассказов стариков, ложится интересной историей большого современного села. А история, она ведь через судьбу людей проходит. Теперь, конечно, трудно сказать, когда здешние животноводы себя курайцами называли, а что они не побоялись суровой Актру — это говорит о многом, и прежде всего о том, что без душевного бунта тут не обошлось. И решились на перекочевку почти к самому подножию зловредной горы действительно смелые и мужественные люди. Не побоялись козней горы. А козни у нее разные были. То ни с того ни с сего задует вдруг бураном, когда в долинах уже цветы проклюнутся, то в самый окот град величиной с куриное яйцо напустит, а в месяц большой жары — все низины водой затопит. С ней шутки плохи, с этой горой, где гнездились недобрые боги... И прошел не один десяток лет, прежде чем люди поняли, что не боги тут всему голова, а просто закованная навечно в лед Актру. И хотела бы, может, добро принести людям, да не могла — холодом вся дышала сама. А когда пастухи в жаркие дни подняли по ее отрогам стада к альпийским лугам — и она подобрела: не пустила вслед за ними разный гнус: паутов, слепней, комаров.

— Добром обернулась к людям, — заключает Адыкенова, хозяйка целой династии животноводов. — Может, она давно хотела быть такой, да только сами люди боялись ее, думая о ней как о живом недобром духе.

Есть что сказать, о чем поведать людям Софье Адыкеновой. За ее плечами долгая жизнь. На девятый десяток нанизываются годы. Один за другим идут себе чередой...

— И все они разные, — говорит она. — На последние

¹ Очок (алт.) — очаг.

шибко обижаюсь: уж очень они быстро бегут. Надо бы наоборот... Когда трудно жили, им бы во всю прыть бежать, а они еле-еле двигались. Теперь вот совсем легко и богато зажили, им бы можно и помедленней идти, а они, будто буйная Чуя после дождика, — скачут, не оглядываясь.

Еще год назад стоянка Адыкеновой была местом, куда раз в год на ее именины съезжалась бесчисленная родня: сыновья, дочери, внуки и внучки. А теперь вдруг стали ежедневно встречаться. Вот ведь как все это неожиданно получилось! Никогда бы не подумала, хоть и самая старшая она в роду Адыкеновых, что можно и вместе жить... Совсем, оказывается, не обязательно делиться по стоянкам.

Софья Адыкенова родилась тут, в Елангаше. Тут и мать с отцом жили. Каждый камень знаком. Каждая даже небольшая перемена в урочище заметна глазу. И совсем это получилось неожиданно: решили в Елангаше культбытцентр построить. Двадцать с лишним стоянок объединили в поселок. Теперь на стоянках будут только сменные чабаны.

— Выходит, я еще одну революцию пережила, — смеется Адыкенова. — Революцию, которая покончила с одиночеством на стоянках. На этом культбытцентре все предусмотрели умные люди. И клуб, и магазин, и медпункт, и настоящую баню, и школу, и детсад, и склады разные, и, конечно, домики для животноводов. А в них — газ, телевизоры. Ну, одним словом, все как есть по городскому типу.

Как-то забегают Сашка. Он Адыкенов тоже. Внуком доводится Софье. Спокойным этот Сашка никогда не бывает. Забегает и с порога кричит:

— Тяанам, идите скорее в магазин — свежие огурцы привезли...

Посмотрела старушка на заснеженную полянку. Покачала осуждающе головой:

— У меня, Сашка, несколько сыновей было... Сейчас — мужики все, вон Турдубая взять, или Будыя, или Якова — они в твои годы арачки и не нюхали...

Ах, этот Сашка! Он настоящий артист, хотя и чабаном работает! Сначала рассмеялся, а потом и вправду представил из себя подвыпившего человека, стал куражиться:

— Огурчиков хочу, тяанам. А в магазине говорят, сначала продадут людям уважаемым и ветеранам труда... А вы и заслуженный и ветеран... У вас и орден есть трудовой и медали...

Вот так и разыграл. Потом догадался, что могли действительно из Курая свежих огурчиков и в Елангаш прислать. Ведь две теплицы теперь в селе действуют. Свежий лук еще до Нового года поступал. А разыграть этот Сашка способен. А араки он в глаза не видел. Это точно.

Так оно и получилось. На дворе зима, а магазин в зелень оделся: и лук, и редиска, и действительно огурцов понемногу на семью. Это приятно.

— Люди привыкают к неожиданностям, — говорит хозяйка большой семьи Адыкеновых. — То, что чудом бы казалось десять лет назад, сейчас воспринимаешь как обыденное... Кто бы подумал, что пастух может избавиться от кочевья? Что будет он, как и все, работать определенные часы, остальное время семье отдавать или самообразованием заниматься!

Нет, вы посмотрели бы на парней наших и девочек, что с ними творится! Даже эти тихони — Лена и Наташа. Внуки они мне. От Бараболы обе. Работают чабанами, а как вечер — принаряжаются, и не удержишь... Всю комсомольню вместе собирают, что-то планируют, веселятся. А с ними и еще одна внучка, от Рақыма. Тоже Наташа. Сколько же их у меня? Да больше десятка всех-то. И от колхозного скота — никуда. Вот у клуба крутятся. И клуб-то ведь еще не устроен как следует. Отделывать надо... А у них уже все определено: тут библиотека, тут читальная комната... Невтерпеж! И понять их можно: теперь они вместе. Вместе обо всем и думать приходится. Или взять этих малышей... Живут на стоянках до семи лет, будто дички. Отправят их, бывало, в интернат, в Курай или в Чаган-Узун, а они удирают оттуда — не привыкли с людьми-то... Плачут. А матери тоже плачут. Боятся за глаза отдавать ребенка.

Много я прожила лет, а, пожалуй, самые яркие и радостные — это годы последних пятилеток. Конечно, чтобы за силу взяться и выстоять против бурь, даже дереву надо крепкие корни пустить поглубже в землю. А человеку тем более. Но как их взвесить, какой год тяжелее, какой легче? Наверно, по своим же делам и можно най-

ти эту самую мерку. По делам тех, у кого твоя кровь в жилах течет.

...Неторопливая вязь воспоминаний. Слушая перевод, невольно вспоминаешь похожую картину: охотник у костра. Говорит образно, мудро:

— Любуюсь всегда кедром. Посмотрите, какая у него осанка горделивая!.. Ни одно дерево не может сравниться с ним в этом. Гляжу вот так, любуюсь им и думаю: это ведь он сам засматривается на свои голубые лапы, усеянные рясно-рясно шишками... Значит, доволен тем, что не просто густой голубоватой колючкой богаты они. На них плод. Плод, нужный другим...

Это она о кедре. И нам показалось, что у этой спокойной мудрой женщины в этот миг многое от того могучего кедра. Она издали, будто со стороны, оглядывается на череду лет и вместе с ними, с событиями, которые не могли пройти мимо, не задев как-то ее бытия, входит в мир детей. А мир этот светел и чист. И это приятно ей. Она горда ими. Ведь старость живет радостями и печалью детей. Их счастьем и даже мечтой... Да, да — мечтой, потому что мечта — это сильнейшее средство от всех недугов...

— Адыкеновых у нас целая бригада, — говорит секретарь колхозного партбюро Николай Еликов. Он бы мог охарактеризовать все веточки, которые отпочковались от адыкеновского дерева, но ему и самому хочется услышать мнение о каждом от старейшины рода.

— Она говорит, что больше других узнает себя в Бараболе. Беспокойная и, наверно, портит кровь колхозному начальству. От нее не отобьешься, когда надо выхлопотать что-нибудь для отары.

— Это так, Николай Бочкович?

— Не могу не согласиться, — улыбаясь, весело подмигивает нам секретарь. — Настойчивая Барабола. И дочери в нее, такие же настойчивые. А вот про Эркемей, говорит, не могу сказать то же самое. Спокойная очень...

— Зато Сашка у нее уже всем делом, как заправский мужик, заворачивает, — вставляет Еликов и говорит это ей по-алтайски.

Лицо Софьи Адыкеновны светлеет. Прячутся у губ морщинки:

— Э, Сашка-внук будет настоящим животноводом, — говорит она уверенно, потом на минутку задумывается

и, как нам кажется, озабоченно спрашивает о чем-то у секретаря. Тот отвечает. Несколько минут они оживленно беседуют, потом он говорит про старшего ее сына Будья.

— В Ростове он с семьей. Оторвался как-то. Свою дорогу нашел. На заводе работает. Пишет редко. Придется напомнить ему. Коммунист ведь. Она о внучатах думает. Переживает.

Потом разговор идет о Якове, Ракуме, Турдубае...

— Яков у нас лучший механизатор, — говорит Еликов. — Мы его заведующим гаражом колхозным назначили. Человек дела. А Ракум с Турдубаем — старшими чабанами трудятся. У каждого — дети. Взрослые из них после школы остались со скотом.

— С Еленгашем — это вы хорошо придумали, — говорит Софья Адыкеновна. — Молодым теперь будто в солнечный день — далеко стали видны все тропки. За них ведь сердце болело.

Большая семья, большие заботы, а у Софьи Адыкеновны еще и годы, и высокое чувство чабанской гордости. Разве оно, это чувство, дает покой? Семь детей, более двадцати внуков...

И хорошо это и трудно. И все-таки, наверное, хорошо... Молодые ветви от одного дерева поднялись шумно и дружно. И на каждой — плоды зреют. И кедру с высоты они хорошо видны. Поэтому он и крепок еще и бодр.



ТАБУНИК ИЗ ОРОКТОЯ

Э то осталось на всю жизнь. Тягучая и легкая, как паутинка, мелодия прорезывалась сквозь призрачную толщу лет. Звенит, звенит и от костра, и от той вон

черной лохматой лощины, которая хорошо виделась мальчишке от самого порога анла... И падает откуда-то с неба, будто ручеек. Широко открыв глаза, смотрел мальчишка на этот удивительный мир, полный звуков и блеска.

...Как-то отец привел коней. Темногривый жеребец косился огненным глазом на мальчишку и, недовольно фыркая, нетерпеливо бил ногой. Потом стал грызть коновязь.

— Узнаешь? — спросил отец, держа за плечо мальчишку.

Тот, опасливо отстраняясь от коновязи, отрицательно покачал головой.

Отец тихо засмеялся.

— Нехорошо получается, Гриша, — сказал он укоризненно. (Мальчишку называли русским именем в честь хорошего знакомого русского умельца).

— А вы с ним вроде бы сверстники, — продолжал отец. — В один год родились. Когда ребенок появляется на свет, в табуне жеребенок рождается...

Мальчик с завистью посмотрел на своего одногодка. «Красивый, наверно, конь вышел из него, но почему он такой большой, а я даже не выше вот того сучковатого пенька!»

— Ты не бойся, Гриша... Хочешь, посажу в седло? — подталкивал легонько в спину отец. — Он ждал тебя... Совсем недавно я объездил его...

«Но почему он не приходил раньше? У пегой кобылы есть жеребенок. С ним дружить можно... А с этим...»

— Он не укусит? — спросил мальчик, с трудом перебарывая в себе робость.

— Кусаются собаки, — засмеялся отец и вдруг, подхватив под мышки, поднял мальчика высоко в воздух.

Почувствовав под собой не очень твердую опору, мальчишка инстинктивно схватился за что-то жесткое, скользкое. Это была грива коня.

— Возьми повод... Держи крепче. Покороче бери.. Вот так! — командовал отец.

Оказывается, за повод можно держаться... Вот только ноги... Под ними нет никакой опоры.

— Ничего... — подбодрил отец. — Подрастешь, в стремяна упрешься. Тогда будешь настоящим наездником...

Когда это все было?

Может быть, восне? Не похоже... Нога же вот до сих пор со шрамом. Так и не смылся, не затанули годы. Так в этом месте, чуть пониже колена, и останется, видно, кожа с брачком. Сейчас уже никакой боли не ощущаешь, да и вспоминаешь редко об этом, а тогда, небось, ревел, как торбок. И то ведь надо же тому быть — решил тут же показать свою прыть: запрыгал, в сторону шархнул...

Отец и сердился и жалел. Это понял мальчишка. Ему было досадно, что ты свалился под коня и не твой рев вызывал в нем жалость и сострадание. Он испугался за твою ногу. Какой животновод из безногого или даже хромого.

— Мальчонка еще только-только выцарапался из рук шайтана, а ты его на коня, — выговаривала отцу мать, прикладывая к ноге какую-то распаренную траву.

Из рук шайтана... Значит, ты болел тогда чем-то? Разве все упомнишь!

А вот слова отца, сказанные с явным сожалением, запомнились:

— Не на козла же мне садить его? — сказал он.

— Можно и не садить... Придет время, сам в седло попросится, — пробовала защитить сына мать.

— Ну, пусть верхом на палочке ездит до самой женитьбы, — обидно бросил отец и вышел из анла.

Это запомнилось. Потому, очевидно, запомнилось, что та обίδα за свою неловкость родила и вскормила упрямство. Сесть на коня и промчаться, может, по селу из конца в конец стало не только страшным желанием, но, кажется, целью всей жизни...

Потом, когда началась война и отца вместе с другими мужиками провожали всем Ороктоем до паромной переправы, отец все глядел на вершины гор, иногда тяжело вздыхал и говорил, говорил что-то матери. Мать растерянно повторяла:

— Разве ты виноват перед той войной? Разве вон те мужики виноваты? Что ей надо, этой войне?

Отец нетерпеливо махал рукой, будто отбиваясь от кого-то.

— Фашисты какие-то напали... Будем их бить... А они нас. Кто кого...

— А они люди?

— Не совсем, — хмурился он и все смотрел, смотрел на каменные гольцы, на Ороктойскую долину. Все прислушивался к чему-то.

«Он, наверно, никак не может расстаться с той песней, которую поют горы, кедровые заросли... Вон даже Катунь поет», — думал мальчишка, и ему стало жалко отца.

— Я научусь ездить на коне, ада¹, — сказал он неожиданно.

— Вот и молодец, Гришка, — похвалил отец и потрепал по голове шершавой ладонью. — А потом смотри ходи в школу и слушайся мать.

— Ладно, ада... Я буду слушаться...

Может, и не было такого разговора между отцом и сыном. Может, это только детским желанием было. Хотелось сказать отцу перед большой дорогой хорошее слово, подбодрить его? Кто его знает, что это такое — война? Может, это страшнее даже, чем сесть на коня и промчаться на нем по горной тропе... Отец расстроен, и мужики, и вся деревня тоже.

И дрогнуло страхом и жалостью сердце мальчишки:

— Я научусь ездить, ада... Научусь... А ты там не упали с коня.

— Не упаду. Постараюсь, Гришка...

«Не упаду... Постараюсь...» Мальчишка смотрел с крутого берега на дивное колесико, которое бежало по канату через всю Катунь, уводя за собой дощатый, на двух больших лодках паром... Совсем маленькое колесико, а имеет такую силу! Оно все катилось и катилось к тому, к другому берегу... Катилось рывками. Остановится, отдохнет и снова рывок вперед... Злое, недоброе колесико... Куда ты, на какую такую войну увозишь людей! Взять бы хороший камень да запустить в тебя... Но разве докинешь! А галькой его не сбить с такой высоты. Может, уже не раз пробовали мальчишки.

...Кажется, тише и просторней стало в Ороктое. Какая-то настороженность и тревога поселились в каждом аиле, в каждом доме. Женщины, всегда охочие до пересяудов, стали молчаливее, сосредоточеннее...

...А может, все это не так было... Может, все по-другому. И разговор с отцом был иным, и детская клятва —

¹ Ада (алт.) — отец.

это плод пылкого детского воображения. Только года через два Грища Булгыков уже помогал колхозному табунщику. Боевой, сметливый мальчишка с ранней весны до первых осенних опалов, когда ветер легко ощипывал березки и осины, срывая с них желтые листья, пропадал с лошадьми. Табун стал его родной стихией. И пусть не вспоминает о нем лихом старый учитель, если резвые жеребята не раз появлялись на обложках его школьных тетрадей.

Война подходила к концу. Веселей заговорили радиодикторы. Громя гитлеровских захватчиков, воины Советской Армии ворвались уже на земли Германии... А вестей от отца не было. И вдруг...

Это было хмурым осенним вечером. В сельский Совет позвали мать...

Она вернулась домой постаревшей, осунувшейся. Всю ночь не спала.

А утром сказала со вздохом:

— Рано бы тебе быть хозяином, сынок... Но на тебя надежда... Слаба я стала.

Ах, эне! Зачем говорить об этом. Разве он не видит сам?

Звонкими росами, веселыми летними дождями отзвенели, отодвинулись в воспоминание детские годы... По-прежнему, разрезая изумрудные воды Катуня, встречает людей и провожает их в дальний путь колхозный паром. Он с раннего утра в работе. Все новости родятся и уходят от него.

Вот на нем группа военных... Молодые, загорелые парни. Один из них чернявый, со строгим разлетом черных бровей, опершись на перила, смотрит на стальной трос, по которому, держа в поводу паром, с легким стрекотом бойко скользит блок... перебежит метра три и остановится, подтянет паром и снова вперед...

«Тогда он так же бегал... Только все почему-то вышло иначе. В другом свете...»

Это Григорий Булгыков. Он возвращается с группой товарищей из Армии в родные отцовские края.

Бежит блок... Остановится. И в памяти высветит кусок жизни...

Высоко в горах урочище Кульдюш. Крутые склоны, покрытые лиственницей и кедром... Холодный ключик у серого камня. А рядом заросли кислицы. Осторожные

жеребые матки... А в синей-синей вышине что-то звенит, звенит, переливается музыкой, пощипывая сердце чем-то неизъяснимо радостным и светлым.

Это вылепилось в памяти...

Скользит колесико блока. Быстро-быстро. И замирает... И снова кусочек былого.

Бурундук... Нет, не зверек. Это конь. Ласковый и лукавый... Долго он что-то не рос, прихварывал, но цепким оказался и шустрым... Часто с рук подкармливал его. «Эй, Куйрюк!» — крикнешь, а он уж тут, будто ждал, что позовут. Узнает — нет ли сейчас?

...Бежит, бежит колесико блока по железной струне, высекая из памяти яркие картины.

Вот тогда на первый большой праздник осени, в день Октября председатель колхоза в числе лучших вдруг как-то особо произнес его имя:

— Григорий Булгыков.

А может, тогда просто показалось? Совсем рядом была Нина... Может, от этого? Нина... В тот вечер они, кажется, и стали ближе. Когда ребята танцевали, она спросила:

— Ты, говорят, мастер объезжать молодняк. Правда это?

— Не знаю. Пусть люди скажут, — смутился Григорий, не понимая, к чему это она.

— Я была в Кульдюше... и тебя видела. Ты обучал четырехлетнего жеребенка.

— Не упал хоть? — засмеялся Григорий.

— Нет... А как хорошо в Кульдюше!

После этого вечера скучно стало Григорию в том Кульдюше. Так и манило вечерами в село.

Дрожит, позванивает трос... Где-то под дощатым настилом струится вода, бьется тугой волной о скользкие бока баркасов.

Все это было будто вчера. Как там она, хозяйка Кульдюша? «Тебе нравится Кульдюш? Будь в нем хозяйкой...» Это тогда, перед сватовством... Удивительно, как быстро летит время. На каком скакуне обгонишь его!

...Прошло несколько лет. Мы переправляемся на пароме в Ороктой. И снова, как в то далекое и близкое время, о котором вспоминал Григорий, бежит по тросу шустрое колесико блока...

Знаменитый табунщик Ороктойа — в нашем «газике». С ним — дочка. Она уже перешла в шестой класс. Ездили в город. Надо готовиться к школе. А учеников у Григория не один и не два.

— Целое звено, — смеется табунщик. — Пять человек... А всего восемь. Мальчишки? Конечно, и мальчишки есть... — И, вглядываясь в широкую прибрежную долину, озабоченно добавил: — А ведь, наверно, пора уже и за кукурузу приниматься... Вишь, листья жухнуть начинают.

Человек дела... Он жил все эти два дня в поездке делами и заботами родного совхоза.



НАД КАТУНЬЮ-РЕКОЙ

1. Беловодье

Катунь отгораживалась от людских глаз неприступными скалами. Бросала навстречу человеку крутые перевалы. А он шел, преодолевая одно препятствие за другим. Кидал через бурные речушки мостки, строил переправы, врубался в скалы, прокладывая себе путь вперед. Вот и Уймонская долина. Здесь верховье Катунь.

На десятки километров размахнулась степь. Заросли березняка и краснотала по берегам речушек. Высокие травы в балках и низинах. Простор. Раздолье.

Припадал к реке уставший конь. Перекинув повод, сходил на землю пораженный невиданной красотой путник. Вечерами над речной долиной вился легкий дымок, спутник костра. Всплескивалась в Катунь неведомая рыба.

По тропам кочевников шли неустойчивые искатели легендарного Беловодья. Сильные, смелые люди, они бросались врукопашную с первобытными силами природы. И побеждали.

Вот уже по берегам Катунн, в долинах гор появились деревеньки, запахивались земли. Дикие травы ложились в стога. Колосились пшеница и ячмень. Наполнялись янтарные соты пахучим медом. Приволье. Но люди отгораживались друг от друга глухими заборами. Лохматые свирепые псы сторожили стада и усадьбы. Не было того сказочного Беловодья и в этих сказочных местах. Межи благодатных земель не раз орошались кровью междоусобиц. Жажда наживы пробуждала зверинные инстинкты, узаконивались неписанные обычаи о праве на жизнь. Люди хоронили за тесовые ворота и ставни свое маленькое счастье и радость. За семью печатями каменило сердце.

Нет, не такого Беловодья искали люди!

Плыла над Катунью печальная песня. Не раз в ее зеркальные воды гляделись заплаканные глаза... А степь как и была. Вот она, под копытами травами стелется. Такая же безбрежная, как и тогда, в цветах и травах. А над нею звенящая трель жаворонка.

О том далеком, былом напевали нам струн белопенной Катунн. Река и сейчас загадочна и строга. Только на расцвеченных берегах ее другие теперь песни. Другое солнце в глазах людей. Полнее радость. Потому что это радость не хуторянина, прятанного в прохладных омшаниках свое счастье и гордость, это радость свободного человека. Завоевав свое право на большое счастье, человек принес с собой в Уймонскую долину сады. Заставил работать на себя машины. Сравнил межи. Оттого человек теперь далеко виден в той степи. Он идет прямой, открытый, не прячась, не таясь от «дурного глаза», как и положено хозяину, человеку большой судьбы.

...Бежит Катунь по камням, мимо скалистых ущелий от самой Белухи. И чем дальше в долину, тем светлее ее волна, тем теплее вода. У приторов Катандинского седла крутит могучие выюны, сердито пенится на перекатах, сбивает вокруг на тихих заводях легкие наносы, будто охвостья на большом кружаке. Голубой луч стреляет до самого песчаного дна и ломается в глубине, искрит тысячами маленьких солнц.

Если б можно было предупредить человека в те годы, когда на Алтае еще гремела гражданская война... Если б могла она подать сигнал на красногвардейскую заставу у Тюнгура о том, что по темным уремам правого берега реки непроходимой тайгой вот уже вторую ночь крадется дикая ватага, жестокий, смертельный враг — каратели. Тогда, может быть, не было бы предательства и того страшного часа, когда, расстреливаемый в упор из засады, на каменной тропе беспомощно истек кровью красногвардейский отряд Петра Сухова... Если бы можно было захлестнуть волной предательскую засаду!..

2. Тюнгур— слава героев

Мрачна в этих местах Катунь. От хвойного леса ложатся черные круги на омуты и перекаты. На тропе пробиваются родники и стекают в Катунь. Вода их темная в тени деревьев, и оттого кажется, что это сочится кровь героев...

Слева от тропы — скалы, крутые склоны высокой горы Байды. Тогда немногие из суховцев, раненые и обессиленные, поднялись на вершину этой горы.

...А несколько дней назад в селе Катанда в штабе добровольческого красногвардейского отряда, прошедшего с боями сотни километров по степи и горам, решался вопрос: как быть? Плохо зная местность, преследуемый крупным казачьим карательным отрядом, обескровленный в частых стычках с многочисленными бандами, отряд отходил по единственной дороге — через абайскую долину, на Громатуху, Усть-Коксу, вниз по Катунь — на Катанду и Тюнгур.

Это была ловушка.

— Где наша ошибка? — мучительно думали командиры, ища выход. Вспомнили разбежавшихся проводников из Абая.

— Предательство, — хмурясь, устало потирая худое, изможденное лицо, мрачно заключил Сухов. — У нас теперь единственный выход — прорваться в Монголию. Значит, одна дорога: вниз по Катунь, на Тюнгур, а там тропами или на Аргут, или вверх по Чуе... Другого пути не вижу.

И никто из командиров его не видел.

— Приказываю: усилить заставу по дороге на Коксу. Разведке с наступлением сумерек незаметно выйти в сторону Тюнгурского. Разведать дорогу до впадения в Катунь Чуи. Завтра топить бани. На сборы двое суток.

Пройти незаметно Тюнгур разведчикам не удалось. Дорога одна: через село. Слева огромная гора, справа Катунь.

И в ту же ночь из Тюнгурского, переправившись через Катунь на правый ее, лесистый берег, помчался по звериным тропам к Верх-Уймону, на Коксу, посыльный. Нарочный тюнгурского кулацкого подполья. Он поднял отряд карателей, часть из них с пулеметами провел по правобережью за Тюнгур, против узкого каменного притора, в лесу за Катунью зарылась в камни засада.

...Уже у самого села, смяв небольшой арьергард красногвардейцев, отряд стали преследовать казаки. Отстреливаясь, суховцы быстро приближались к притору. Тропа в один конский след. Вытянулись живой цепочкой. И тут — свинцовый смерч из пулеметов...

* * *

Петр Сухов с горсткой бойцов поднялся на вершину горы. С ним — высокий, сильный, совсем еще юный Иван Долгих.

Темнело. Укрылись под каменным навесом. Передохнули.

— Тебе уходить надо, Иван, — приказал командир. — Пробирайся на степь. Люди должны узнать о нашей трагедии. Может, отомстить еще сумеешь...

— Не могу, товарищ командир, — решительно потряс головой Долгих. — Как я тебя брошу?.. Вот подкрепимся. Отдохнем... Тут нас сам черт не найдет — и вместе.

А ни укрыться, ни отдохнуть не пришлось. На расвете их взяли с собаками-волкодавами тюнгурские кержаки-хуторяне...

...Об этом обо всем рассказала мне Катунь, да подернутые зеленым мхом камни у притора, да черные в тени молодых берез родники.

А в тот страшный день озверевшее кулачье помогало карателям расправиться с остатками отряда. Они доби-

вали раненых кольями, рубили топорами головы, вешали на воротах. Петр Сухов принял смерть от пули на крутом берегу реки.

— Где мы допустили ошибку? — спокойно спросил он перед расстрелом своего двадцатилетнего помощника Ивана Долгих. Этот вопрос увидел Иван через минуту и в мертвых глазах командира...

Статного, красивого Долгих отпросил у офицера катандинский кузнец.

— Ваше благородие! Отдай мне его... пусть почертомелет на обчество... Работников, сам видишь, где найти в такое время... А у меня вон, слава богу, двадцать десятин пашни да кузня! Отблагодарим. Не пожалеем!

Смиловивился офицер. Приказал отпустить Долгих.

— Да смотри у меня! — погрозил он Ивану. — Чуть что — на ворота вздерну, как собаку! Забирай его! Да, слышь, лагун медовухи ставь казачкам-то!..

— Да ужотко, ваш благородие... Мигом спроворим, — отозвался кузнец.

Счастлив был каратель: поймал-таки этого черта, Петра Сухова. Будто гора с плеч. Покою не давал. Крепко доставалось от него казачкам. А в капкан пошел... Да и где выход-то был? Правда, из Абая мог бы отряд на Бухтарму уйти, а там казахские степи. Ищи его там...

Теперь, слава богу, отмаялись. А этот парень действительно гвардеец...

— Эй, как там тебя прозывают-то? — крикнул он вслед Ивану, который потупясь шел за мужиком, тяжело дыша, молчал.

— Ну? — прошипел подскочивший рыжебородый казак, поднося к подбородку Ивана волосатый кулак.

— Долгих, — опустив голову, тихо проговорил он.

— До-лгих! — повернулся к офицеру казак. Вокруг захохотали. — И взаправду — До-лгих!

— Ничего, — усмехнулся офицер. — Поукоротят тебя тут мужички, пообломают. К земле согнет долго-ту-то...

Добрый сегодня казачий есаул... Одно-го-то можно и помиловать из ста сорока пяти.

...Кружит, кружит выюном Катунь, грозная гордая дочь Белухи. Несет по свету страшную весть. На плечи крутого обрыва упал, с пуль в сердце, командир Сухов.

Приняли мучительную смерть и его бойцы в безвестном доколе горном селе Тюнгур...

А через несколько месяцев ушел из Катанды Иван Долгих. Ушел — и как в воду канул. Зимой 1922 года, когда в селе остановился на постой отряд карателя Кайгородова, прорвался Иван во главе чоновского отряда в триста сабель через Яломанские белки и наголову разбил бандитов.

Это был бесстрашный переход по обледенелым тропам, свисающим над пропастями. Смело рассчитанный, внезапный удар.

Это пришло отмщение.

...Заросли партизанские тропы. Но в памяти людской не выветрилась добрая о них молва.

Молодой кедрач вырос в могучие деревья.

Только, может, такой же загадочной, голубоглазой осталась Катунь-река. Она видела глаза Петра Сухова и в них немой вопрос: «Где ошибка?»

А ее, может быть, и не было. Разве у революции, за которую ты отдал со своими парнями жизнь, были торные дороги?!

Но это были дороги в бессмертие.

...Если будете в Тюнгуре, поклонитесь могиле героев. Положите цветы у подножия обелиска. Они, эти первые ласточки большой человеческой весны, приняли как должное мученическую смерть за вас, за эти сады, за ваше счастье.

Тюнгур... Справа — Катунь. Слева — горы. Мирное рядовое горное село, а какая страница вписалась в твою историю, Тюнгур!..

...Поля зеленеют от дружных всходов. Отсюда, от Тюнгура, совсем близко заснеженные отроги Белухи. Далеко ушла Катунь от своего истока, сделала круг, чтобы вобрать в свое каменное ложе десятки ручьев и речек. И вот в Тюнгуре она снова подходит близко к подножию родной горы.

Рядом с Белухой — Кара-Тюрек, что значит «черное сердце». Соседка Белухи. Большая крутолобая гора. Там на вершине ее — высокогорная метеостанция. По тропам от Тюнгура до нее — полста километров.

У Катунь, в окрестностях Тюнгура, зацепившись за гору, рассыпалась на лугу радуга. Красные, желтые, голубые искры упали в траву и горят, искрятся на вечер-

ней зорьке... Это цветы. И так много, что каждый шаг по траве вызывает чувство вины перед ними и даже боль. Жалко топтать... А не топтать невозможно. Они всюду. Туманится Кара-Тюрек. Легкой дымкой закрывается от долины.

— Метель, — кивает в сторону далеких гор молодой парень и как-то виновато смотрит на нас. Будто он повинен в том, что там уже зима воюет с летом и не пускает цветы. На обветренном, каленом лице его следы бурь. Он с упоением нюхает цветы и чему-то улыбается. А в зарослях кустарника, на берегу Катунь, привязан конь. Он нетерпеливо переступает ногами и косит горячими глазами на блаженствующего среди цветов парня.

— Неужели буран?

— Точно, — кивает головой парень. — Только еще рановато зиме. Пронесет... Вот в августе все: закрывай двери и ставни. Забудь про цветы...

Он собирает в пригоршню синие глазки незабудок, разбросанные по косогору. Потом делает из них маленький букетик и осторожно вставляет его в верхний карман пиджака.

— Страсть моя — незабудки, — тихо смеется парень. — Говорят, это росы с Катунь. Туманами своими она подкармливает их. И можно поверить. Правда?

3. Кара-Тюрек — черное сердце

Над вершиной Кара-Тюрека почти всегда клубятся тучи, льют дожди, сверкают молнии, а с середины лета уже мечутся снежные вихри. На этой беспокойной горе, на небольшом пятачке расположена метеостанция. Здесь живут эти парни. Небольшой домик. Сарай для дров. Баня. Все продукты, а также дрова и техническое вооружение доставляются на Кара-Тюрек по горным тропам выюками. К концу июля годовой припас должен быть на месте — в августе на лошадях уже не подняться.

Живут на высокогорной метеостанции далеко в горах Алтая четыре отважных комсомольца: Геннадий Карпов — начальник станции, Владимир Копылов, Борис Шебакин и Женя Воронков — радисты.

Дежурят ежедневно по два человека. Смена через

неделю. Восемь раз в разные часы суток передают по радиации метеосводку в Новосибирск. Кара-Тюрек и Белуха играют, пожалуй, ведущую скрипку при составлении синоптических карт Сибири. Высоко поднялись отроги этих гор. Ни одно облачко не пройдет мимо, не покружив над их вершинами. Отсюда из глубоких ущелий вырываются на простор то в одном направлении, то в другом свирепые ветры.

Вот почему так важны сводки с далекой вершины Кара-Тюрека. Вот почему молодые метеорологи всегда на посту.

В ясные дни далеко внизу видны долины. Весна поднимается к ним уже в середине июня. И доходит она только одиночными цветами-смельчаками: кандыком, одуванчиком да редкой травой. Остальным цветам высота не под силу. И разбегаются они по долинам, устилают склоны невысоких гор разноцветными поясами.

На Кара-Тюреке весна обнажает каменные тропы, скалистые гольцы спускают в долины серебряные косы буйных ручейков, и теплый туман, поднятый с горных долин ветерком, окутывает вершины Кара-Тюрека. В эти дни скользко на тропах. Опасна дорога. И все же в свободное от смены время уходят ребята вниз. Подышать весной. А внизу, в ближайших долинах — села. В Катанде «перевалка» метеостанции. Оттуда один раз в месяц поднимают на Кара-Тюрек почту: газеты, журналы, письма. Тогда целую неделю у ребят праздник. Газеты, журналы зачитываются до дыр.

...Как-то в июле в смену Володи Копылова и Бориса Шебалина вершина Кара-Тюрека взбесилась от урагана. С нижних долин видно было, как плясала шальная метель на вершине горы. «Что же там, на этом пятачке? Уцелеет ли дом? Как ребята?» — С тревогой смотрели на вершину Кара-Тюрека жители села.

А через два дня, когда над Кара-Тюреком прояснилось небо, на «перевалке» в Катанде приняли с горы сигнал бедствия. Подседлав двух коней, выехал на Кара-Тюрек проводник. Вернулся не один. С высокой температурой, в полубессознательном состоянии сняли с седла Володю Копылова.

Десять километров шел парень один... Отсидится у камня — и снова идет.

...Через неделю Володя был уже снова на метеостан-

ции. Что произошло тогда на Кара-Тюреке? Ураган налетел неожиданно. Ночью вдруг свирепо взвыли ущелья. Домик задрожал. Подходило время передачи сведений на «большую землю». Володя с тревогой прислушивался к гулу метели. А ветер заваливался все с большей и большей силой. Вот загрохотали кирпичи выводной трубы на крыше.

— Антенна! — ахнули ребята и, не сговариваясь, вылетели на улицу.

...Крепил концы антенны Володя. Несколько часов в легком свитере пробыл он на пронизывающем до костей ветру.

— Зато закрепил... и сеанс не был сорван, — говорит парень.

...Днем и ночью в условленные часы искрят в эфир позывные на «большую землю»: «У аппарата Кара-Тюрек! Слушайте нас. Передаем данные наблюдения».

* * *

...Со стороны Тюнгурского подскочила на сером коне девушка. Она была в легкой вязаной кофточке, в брюках. Откинув со лба левой рукой золотистые волосы, весело поздоровалась с нами и нарочито строго прикрикнула на рассказчика:

— Вот он, разлегся! А ну, подъем, дорогой товарищ! Еле дозвонилась до Катанды. Ждут на перевалке...

Парень сделал испуганные глаза, вскочил и побежал к своему коню:

— Беда! Беда! Не проводник, а Кара-Тюрек — черное сердце!

Девушка, смеясь, повернула коня к дороге. А потом, когда они съехались, парень нагнулся к ней и передал букетик.

— До свидания, Володя! — крикнули мы вслед. Парень обернулся и помахал рукой.

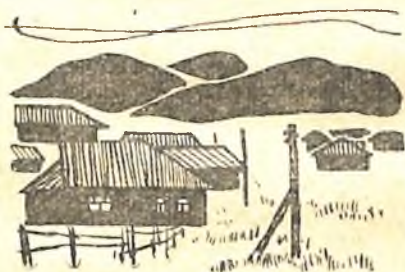
В Тюнгуре нам сказали:

— Да, конечно, это был он, Володя Копылов. А девушка — новый проводник Люба Стахова. Отчаянная головушка. Она уже и аппаратуру их всю изучила... А тот проводник, прежний, который Володю спас, погиб весной, по ледяной тропе в пропасть сорвался вместе с конем...

Смелые парни на Кара-Тюреке. Когда будете тушить костер, взгляните еще раз на эту гору. Если там не шалит метель, вы увидите в утренних лучах могучие отроги Белухи. А появится желание — побывайте у парней. Не легко подняться на Кара-Тюрек — зато какая живописная тропа ожидает вас!

Это тропа смелых и отважных.

Ну, а если заря потушит ваш костер у Тюнгурса и Катунь заморозит своими неугомонными плесами и таинственно-загадочными омутами — идите за ней. Она вас проведет по красивейшим местам нашей области.



**ЗДРАВСТВУЙ,
НОВЫЙ КАЯРЛЫК!**

Он далеко, мой родной Каярлык. Так далеко, что сразу и не отыщешь его даже на краевой географической карте. Вот видите: черная жилка ползет все глубже и глубже в горы. Это не простая жилка — это Чуйский тракт. Он пересекает Катунь, перебросив с берега на берег мост. Вот он взлетает на Семинский перевал и, преодолев его, стремительно спускается в Урскульскую долину. Он пойдет дальше, на многие сотни километров — в Кош-Агач, к монгольской границе. Я знаю, ему еще придется не раз преодолевать неприступные с виду гольцы, форсировать бурные горные речушки, прижиться уступом к отвесным скалам и виснуть над пропастью, но он пройдет все это, послушный опытной руке человека-строителя.

Ну, а Каярлык... Видите вторую жилку, что потоньше? Она похожа на паутину. Того и гляди, оборвется. Но она не порвется. Это точно. С каждым годом эта жилка становится крепче, и кто знает, может быть к концу этой пятилетки она станет такой же, как и Чуйский тракт. Ведь была же когда-то — и совсем не так уж давно — обычной конной тропой, каких сотни, а может и тысячи, в горах Алтая.

Вот и большое красивое село на берегу Урсула. Это еще не Каярлык. Это Ело. Здесь родина нашего Эркемена Палкина. Он тоже в свое время учился в Литературном институте имени Максима Горького. Теперь член Союза советских писателей. Вывела ж его тропка до самой Москвы.

Я прохожу через Ело, и хоть это не мое родное село, но я рад за соседей. Как похорошело оно! Большой клуб. С паровым отоплением. Магазин, школа. Новые домики гостеприимно светят мне огромными окнами. А помню: стояли здесь слепые аилы. За Елинской околицей начинается Каярлыкская долина. А там, у гор, вам сразу же начнут светить огни моего родного Каярлыка. Я не так уж давно покинул его. Всего, может быть, около трех лет, а как хочется иметь крылья, чтобы взлететь на вершины ближайших гор и спуститься по знакомой с детства улице! Это чувство понятно каждому, кто хоть раз покидал родные места. Навстречу, ласкаясь, как дворовый пес, бежит, рассказывает мне безумолчно о деревенских новостях знакомая с детства, говорливая, беспокойная речушка... Бежит, лопочет, ласковая, сияющая и неугомонная. И я понимаю ее. Она торопится рассказать мне хорошие новости. Это я вижу по ее солнечным всплескам и нежному журчанию.

...А вечером я иду по селу. Я иду по широкой улице. Узнаю и не узнаю ее. Вот с этой горки мы на сапках катались. Какая она маленькая! За ней раньше не было домов, а теперь улица открывается новыми домами все дальше и дальше. И я ловлю себя на том, что люблю селом. Я рассматриваю новые столбы, что прошагали и вдоль и поперек села, и провода, будто здесь они не обычные, как всюду, по всей дороге от Москвы до Алтайских гор. Нет, они, конечно, самые обыкновенные, с перекладинами наверху и светлыми стаканчиками на крючках. И все-таки здесь, в Каярлыке, они особенные.

Нет, не тем, что сделаны из самого крепкого дерева — лиственницы, и провода, конечно, как у всех, а тем особенные, что перешагнули эти столбы через столетия, через дымные очаги айлов. Перешагнули, принесли новый, яркий свет. А где ж ему гореть, не в юртах же!

И вот люди стали строить новые дома. Один перед другим вырастали они, просторные и светлые.

Я смотрю на горы, и кажется мне, что отступили они, стали дальше. Я смотрю в долину, и кажется мне, что она раздалась вширь и вдаль. Так были длинные и глубоки черные борозды зяби, которые тянули за собой тракторы.

...Наступил вечер. И хотя солнце не зашло за горы, а в ущельях уже потемнел лес. Скоро в селе вспыхнет свет. И мне очень захотелось увидеть этот торжественный момент со стороны.

Я свернул в переулок и чьей-то оградой прошел по кособогу на небольшую сопочку. Мне было видно, как на молочнотоварной ферме сутились люди в халатах. Там скоро начнут вечернюю дойку. Коровы сами заходят в станки мехдойки. Послышался стук мотора, и мне показалось, что я слышу шум струй по резиновым шлангам.

К небольшой электростанции шли два человека. Один в спецовке, молодой, шагал деловито и быстро, поглядывая на закат. От него не отставал высокий старик. «Неужели не узнаю? — подумал я, вглядываясь попристальней в старика. — Узнал. Это же Амыр. Тогочаев Амыр. Что ему делать на электростанции? Давно Амыр на пенсии. Ему уже, наверное, без малого девяносто... Беспокойный человек. Не сидится дома. Я вспомнил. Было это давно. Я тогда еще босоногим мальчишкой бегал. Амыра Тогочаева все с уважением называли в селе первым стахановцем. Это было не совсем понятно для нас, даже не все взрослые знали, что это такое, но все говорили:

— Стать, как Амыр, стахановцем — это хорошо...

Амыра, говорят, приглашали даже в Москву на сельскохозяйственную выставку. И он ездил. После чего рассказывали: Амыр взялся пасти два гурта торбоков¹.

— Так должен поступать человек, если он хочет стать большим стахановцем, — сказал Амыр. И для нас

¹ Торбок (алт.) — годовалый теленок.

стало тогда многое понятным. Как это было давно! В Каярлыке сейчас более двадцати юношей и девушек, получивших среднее образование, но не покинувших села. Все они работают чабанами, доярками, пастухами. Выросли свои механизаторы, электрики, зоотехники и агрономы. Мои сверстники стали хозяевами на отделении (Каярлык теперь — отделение Теньгинского овцевосхоза). Они самостоятельно решают все хозяйственные задачи. Хорошо берутся за дело. Это видно по селу... А вот Амыр, старый древний Амыр Тогочаев, первый в селе стахановец, — по-прежнему неутомим, по-прежнему о чем-то хлопочет и, видно, совсем не думает уходить на заслуженный отдых...

Я смотрю на родное село. Тени ползут из ущелий. Становится темнее. Вдруг точно молния высклалась над домами: вспыхнул электрический свет, и Каярлык преобразился, стал наряднее.

Из помещения электростанции вышли двое. Они стояли у порога, вглядываясь в село, и тот, что выше, в мохнатой шапке, высоко держа голову, степенно направился по улице. Это Амыр. И я невольно подумал: да, вот такие, как Амыр, дали нам в жизни свет и чистый воздух. Я сбежал с горки и пошел ему навстречу.

— Якшлар, дедушка! Здравствуйте! — кричу еще издали. Он сбавил шаг и пристально посмотрел на меня.

— Здравствуй, сынок, — сказал, даже не вскинув бровью. Лицо его, изрезанное морщинами, было торжественно-строгим. Он деловито справился:

— Как там Москва?.. Ведь я знаю ее... Помню... Хорошо помню...

Значит, он узнал меня. Какая память у Амыра!

— Москва кланяется вам, Амыр... Она помнит своих добрых сыновей.

Глаза Амыра потеплели. В них мелькнула хитринка.

— Может, ты мои следы видел на выставке, балам¹? Небось, и дождей за все эти годы не было в столице? — Он улыбнулся своей шутке и покачал головой. — Разве всех сыновей своих запомнить Москве? Их так много. И то, что добился когда-то я, сейчас во сто крат лучше делают. А за доброе слово спасибо, балам. Уж я не за-

¹ Балам (алт.) — мой ребенок.

был ее, Москву. Она в моем сердце. Разве не оттуда идет этот свет? — он кивнул на село. — Да и только ли свет? — Старик многозначительно посмотрел на меня и, помолчав, добавил совсем о другом: — Приходи в гости. Послушаем твои стихи. Ты знаешь, наши люди уважают хорошую песню и хорошего кайчи — сказителя...

Люди моего Каярлыка... Они хорошо и славно идут по жизни, хотя не всегда и не всем легко дается она.

Я на стоянке моего школьного друга Василия Туткушева. Я видел его имя на Доске почета... Он теперь лучший чабан совхоза. Коммунист и уже имеет семью. Не легким было детство Василия. Рано он лишился отца и матери. Жил у старшей сестры, тогда уже коммунистки, доярки Мююс. А с нею были и другие сестренки: Эртечи, Токтон... Их теперь не узнать. Совсем взрослыми стали. И в работе все заметными людьми значатся.

Я помню, как впервые мы с Василием взнуздали своих коней. Мы научились не бояться быстрой езды. Наши отары были рядом, и мы зорко следили за ними.

Теперь Василий уважаемый человек в совхозе. Он по-настоящему знает свое дело. Недаром отара его одна из лучших.

Как добился он этого?

— О, теперь это не так просто, — говорит Василий. Когда-то, помнишь, мы с тобой думали: чего тут мудреного в работе чабана! Паси себе и паси. Что тут придумаешь нового? Ведь наши овцы круглый год тебенюют... Сейчас много задач решаем сами. Про Былыя Койдонорова слышал? Он в долине Чакрыра живет на стоянке. Это в Ябоганском совхозе. За перевалом...

Интересно, что же придумал Былый? И Василий, взяв с полки какую-то книгу, начинает рассказывать. Он говорит просто и свободно, а я, к удивлению своему, не могу понять, кто это говорит: чабан или ученый зоотехник?

— Вот взять хотя бы его опыты с СЖК... Что это? Это сыворotka жеребых кобыл... Так вот, если ее ввести овце, она увеличит приплод. Да, да, увеличит приплод... Не только двойняшек, но и тройняшек будет приносить... А зимний окот. О, это очень выгодно для хозяйства. Три окота в два года. Только надо подумать заранее о тепляках. В этом я согласен с Былым. Без этого не обойтись, хотя некоторые горячие головы и утверждают обратное.

Но пойти по их пути — значит, погубить хорошее начинание...

Да, Василий говорит о работе, как настоящий хозяин. Подготовленный, грамотный человек. Он ведет меня по кошарам, теплякам, и я вижу, не будет у него досадных случайностей и недоглядов. Все учтено к зимовке. Обо всем он заранее подумал, позаботился. Наверное, у Василия не бывает больших трудностей — он настойчив, трудолюбив, отлично знает свое дело.

— Трудности? О, их хватает, — улыбаясь, говорит Василий. — Нынче пойду на учебу к Самаевой... Ничего не поделаешь, — вздыхает он. — Девчонка, а задает такой тон... всем на диво...

— Самаева? Постой... Неужели Зоя? Такая, помню, совсем клоп... озорная была, бедовая...

— Она, — кивает Василий. — Только теперь ее не узнаешь.

— Чем же она отличилась?

— Лучший мастер оренбургского метода стрижки. Старший чабан. Все у нее учатся... Что ж, и мне, пожалуй, не зазорно будет поучиться.

Лучший мастер передового метода стрижки. Старший чабан... Вот тебе и бедовая девчонка! Я решил обязательно побывать на ее стоянке.

...Меня встретила круглолицая, с большими сияющими глазами молодая девушка.

— Езень, — сказала она приветливо. — Проходи. Гостем будешь. Только скажи сразу: Евтушенко видел?

— Евтушенко? А при чем, собственно, — начал было я, сбитый с толку таким неожиданным вопросом. Но Зоя перебила меня:

— Очень при чем, — сказала она с явной досадой, — значит, не видел... Ну, что ж, все равно, проходи... может, наизусть знаешь его стихи... Послушаем...

Такое условие обескуражило меня. Я сам люблю Евтушенко, но наизусть ни одного стиха его не помню и не встречался с ним. Отсюда, из Каярлыка, все кажется проще, но в Москве, кроме известной особы поэта, есть и другим чем заняться. Со стоянки Зои, правда, это не видно.

Это был необыкновенный вечер. Девушки, подруги Зои, читали наизусть Евтушенко. Особенно пленила всех небольшая его поэма «Настенька». Они читали стихи,

а я сидел и слушал их. И положение мое было не из приятных, хотя, впрочем, я чувствовал, что не могу не гордиться моими юными землячками. Я помнил: у Зои были сестра и брат Токтой, лихой табунщик. Когда кончился вечер «поэзии», я спросил у нее о их судьбе.

— Сестра кончила институт, — сказала просто Зоя. — Зоотехником в Теньге... А Токтой — управляющим фермой работает. Он ведь учился в Ининском училище механизации. Был машинистом широкого профиля. А теперь вот управляющим.

Хорошо, твердо шагают по жизни мои земляки. И в каждой новой встрече со старыми знакомыми я будто вижу их впервые. Кто не знает в Каярлыке дядюшку Учур Тырдаева? Он строитель и кузнец. Про него говорят:

— Нет в селе ни одного дома, ни одной стоянки, где бы не касалось острие его топора.

Я всегда помнил его молчаливым, сосредоточенным, с трубкой во рту. Таким его увидел и в этот раз. Он ставил стропила на скотном дворе. Когда, отдыхая, он смотрел сверху на село, мне казалось, что лицо его молодеет, а в глазах прорывается какая-то светлинка. «Да, ему есть чем гордиться, — думал я, наблюдая за ним. — Хорошую память по себе оставляет людям Учур...»

Он еще полон сил и энергии.

— В городах, слышно, крупными блоками строят, — говорит он. — Вот это я понимаю, навечно... Поработать бы так... — и он мечтательно суживает глаза, задумывается.

Да, еще полон творческой мечты дядюшка Учур. Еще просит горячее сердце строителя большого размаха. Раньше никто не подозревал, что у дядюшки Учур есть какие-то свои мечты. А сейчас я не сразу узнал его. Что же изменило его? Время? Конечно, оно, паше благодатное время.

Как-то под вечер в Каярлык приехала на собственной «Волге» Елена Упаева. После войны она была в Каярлыке председателем колхоза, а теперь работает чабаном в Ело. Я не увидел любопытных ребячьих стаек около ее машины. Они не бежали за ней, как это было в те далекие дни, когда в село пришел первый трактор. Что это, тоже примета нового времени? Конечно.

...Я прожил в Каярлыке весь отпуск, и каждый день,

проведенный здесь, был для меня открытием того нового, что неудержимо идет в горы, не страшась перевалов и бурных рек.

Вот и придвинулась снова к крыльцу моего дома давшая дорогу. Мне нужно уезжать в Москву. Но я не прощаюсь с Каярлыком. Я говорю: цветы и здравствуй, мой новый Каярлык! До новых встреч!



ОЛЕНИЙ ПАРК

1. „Разлучник“

Мы едем по долине бурной речушки Отогол. Дорога заметно идет в гору. На крутых склонах по обе стороны дороги смешанный лес. Больше березняка. Отогол мечется под колесами машины, кидаясь то вправо, то влево, кипит беловатой рябью, кружится, бьет в слепой ярости о камни крутой волной. Он рвется из тесных ущелий на простор, вниз. Мы тоже спешим, но в обратную сторону — к истоку речушки и тоже с нетерпением ждем, когда раздадутся, наконец, и отступят от дороги стиснувшие нас горы.

Где-то впереди хмурится туманной синевой перевал. Там, мы знаем, за извилинами ущелий — поля. Широкие поймы Ануя. Но до них далеко, а пока мелькают по сторонам то крутолобые скалы, то буреломник. Дорога в глубоких ранах, будто после бомбежки. Тяжело, виагуг, приныривая на каждом метре в ямы, идет машина.

Но вот дорога круто сворачивает вправо. Мы пересекаем речушку, и перед нами открывается широкая долина. Каменные каньоны позади. Островерхие вершины отступивших гор вырубает голубой кусок неба и

на нем — солнце. Оно вырвалось из черной пучины дождевых туч, расшвыряло их по закоулкам ущелий и теперь, будто прихорашиваясь, лежит на одном из зубцов и чистит свои золотые перья. Золотой пух летит от него всюду. Он искрится в капельках дождя на венчиках цветов, в звенящих струях ручья, на макушках елей и берез. И вся эта широкая долина под его лучами сверкает, поет, расправляет травы и цветы, стоголосо откликается птичьим гамом, скрипучим стрекотом цикад.

Показались строения, а слева на широком предплечье горы темноватой строчкой взбежала кверху ограда.

— Это и есть олений парк, — говорит мой спутник Николай Ороктоев, который не раз бывал здесь.

Машина сворачивает к прибрежным кустам и останавливается. Раздается резкий, какой-то странно скрипучий свист.

Олень?

— Да. Предупреждает стадо об опасности.

Из-под берез выплывает коричневое облачко. Оно быстро поднимается кверху, еще миг, и нет его. Исчезло. Будто ветром унесло. Проходит еще несколько мгновений, прежде чем мы догадываемся, что это и было небольшое стадо оленей. И тогда только прорезаются в глазах отдельные детали: снежные крапинки на золотистом фоне, контуры резко очерченных, будто вырезанных гравером темных веточек — пантов, светлая рябь промелькнувших ног.

Но вот со стороны леса выходит на поляну новый табунок оленей. Впереди идет пантач. Тяжелая ветка пантов оттягивает его голову к спине.

Вдруг что-то треснуло. Пантач вздрагивает, делает молниеносный прыжок в сторону и замирает. Весь табунок поворачивает головы туда, откуда раздался подозрительный треск. Смотрим и мы в угол ограды. Оттуда, открыв скрипнувшие ворота, на всем скаку вырывается по горной тропе всадник. Олени следят за каждым его движением. Всадник, не обращая внимания на табунок, мчится все выше и выше. Олени успокаиваются. Но нам хорошо видно, как вершник делает большой круг и начинает заходить к табунку совсем с другой стороны. Вот он спугнул из невидимого ложка

еще одну стайку и вместе с ней приближается, описывая круг, к нашему табунку.

— Егерь, — говорит Ороктоев. — А вот и второй, — показывает он в сторону леса. — Кажется, женщина. Теперь они поведут нужных им оленей с двух сторон.

Олени потревожены на всей огромной площади парка. Табунками, будто бурные потоки, стекаются они в угол высокой ограды.

— Там «разлучник», — указывает Ороктоев. — Видите, сколько отгорожено клеток? А самая большая, с несколькими воротами — «разлучник». Интересное название, не правда ли?

— Кого же там и с кем разлучают?

— Вернее бы сказать — отбивают, — улыбаясь, говорит Ороктоев. — Отбивают тех оленей, у которых созрели панты.

— Видно, неприятное это для них место — «разлучник»...

— Конечно, — соглашается Ороктоев. — То место, где ежегодно пантачу причиняется страшная боль, едва ли можно забыть. И олень не забывает его. Чтобы отбить пантача, а потом загнать его из «разлучника» в станок, требуются от егерей большие усилия. Нужны и хитрость, и энергия, и неутомимость. На что не пойдешь, чтобы вовремя снять урожай...

Урожай пантов! Как-то странно звучит в таком сочетании слово «урожай». А ведь это действительно очень ценный живой урожай. Вырастить хорошие панты не так-то просто. Оленеводы имеют дело с полудикими животными. Требуются годы, десятилетия, чтобы олени одомашнились, приобрели привычки ручного животного. Это входит в их повадки по крупицам, порой едва приметным.

Вот женщина-егерь обгоняет уже спокойно бегущее стадо, останавливает коня и, соскочив на землю, протягивает руки к переднему оленю.

— Сынок, сынок, — ласково зовет она. — Ты что же, глупый, взбаламутил все стадо, а? Ну возьми, возьми... Хочешь вкусную корочку поглотать? Вижу ведь, хочешь. Ну, подходи, подходи ближе...

Перебирая настороженно чуткими ушами, пантачу неуверенно идет к руке хозяйки.

Час спустя мы знакомимся с ней. Люба Мултуева —

егерь оленеводческой фермы. А тот, что первым скакал верхом по парку, молодой, чернявый, статный, с тонкими чертами лица, оленевод Анатолий Мултуев, ее муж. Светло улыбается. Возбуждение еще не отпустило его. Оно светится в глазах, ощущается в частом прерывистом дыхании.

Высокий, спокойный с виду, худощавый мужчина стоит у дверей пантоварки и пробует на палец зубья небольшой ручной пилки. Это Федор Петрович Кудрявцев, старейший оленевод Барагашского совхоза. Убедившись, очевидно, в том, что пила достаточно остра, он оглядывает егерей и коротко бросает:

— Пошли.

Из «разлучника» в это время кормачи отбили нужных пантачей в соседнюю клетку. Отсюда они по суживающимся клеткам идут в станок. Пантач шагает осторожно по деревянному полу, и вдруг пол уходит из-под его ног... Олень рвется кверху, но поздно — сжимают с обеих сторон деревянные колодки, и он повисает. Голова его оказывается в крепком хомуте. Мелко-мелко дрожит шея, глаза испуганно расширяются.

Вот тут и встречается олень с Федором Петровичем Кудрявцевым. Мастер быстро, на глаз, определяет пеньек среза и срезает пант. Операция эта длится меньше минуты. Вот уже пант забинтован в марлю, и его осторожно несут в пантоварку для обработки, а пантач неожиданно снова чувствует под ногами твердую опору. Расходятся крылья зажима. Открывается боковая дверь. Пантач встряхивает головой и молнией вылетает из страшного станка на волю.

Мы долго следим за ним. Вот он останавливается. Оглянувшись назад и, качая непривычно легкой головой, снова устремляется вперед.

— Сейчас будет носиться по парку, словно угорелый, — смеется Люба. — Пока не устанет или не поймет, что теперь ему ничто больше не угрожает.

Мы до позднего вечера бродим по парку. Хочется узнать побольше про этих интересных животных. Гостеприимная семья молодых егерей Мултуевых охотно рассказывает нам интересные случаи из жизни фермы. Некоторые из этих рассказов я записал. Вот они.

2. Обморок

— Вы можете себе представить, — говорит с лукавой смешинкой в глазах Люба, — олень падает в обморок! Да, да, самый настоящий обморок.

Как-то в минувшее лето, отбилась группа пантачей от стада и никак не хотела идти в «разлучник». Уходят в горы и прячутся в ущелья. А панты их зреют на глазах. Упустить момент срезки — значит потерять панты. А у нас каждая веточка на учете. Весной олени вышли с зимовки хорошо упитанными, и все виды были на богатый урожай. Поэтому повадки этих явно уклоняющихся от выполнения своих «обязанностей» пантачей нас очень беспокоили. Мы поочередно следили за ними не спуская глаз.

Вот и подошло время пожаловать в «разлучник». Еще день-два, и будет поздно: панты начнут твердеть.

Выехала я за группой беглецов с утра. Быстро отыскала их и постаралась выманить на чистое место. Они как будто ничего и не имели против. Покапризничали, вроде для приличия, а потом пошли. «Ну, напрасно, — думаю себе, — беспокоилась, все идет нормально. Никакие они не бунтовщики».

Только я так подумала, как, смотрю, вожак остановился на горушке, повел головой вправо, влево, потом как засвистит да как взовьется свечкой — и в сторону, в лес, а за ним вся группа. Только и видела их!

Обманул... Ах ты черт, думаю, пестрый! Ну, ладно же, я тебя проучу.

Заворачиваю коня — и за ними. Кружилась, кружилась по лесу. Наконец, в лощинке, у камня, замельтешило в глазах. Выезжаю из лесу — оии. Остановила коня, кричу вожаку (а он стоит спокойно, смотрит на меня):

— Ну как тебе не стыдно, а? Бессовестная твоя морда! Чего ты вздумал меня мучить, а? — кричу так, а сама вперед коня подталкиваю.

Приближаюсь потихоньку и все критикую его за безобразное поведение:

— На что же это похоже, а? Как назвать такую выходку? Хулиганство, не меньше. Да, да. Ну, пошли, пошли... Ишь ты, саботажник!

Махнула рукой, паезжая на них. Идут. Спокойно

идут. Лес прошли. Снова на чистое поле вышли. К той самой горушке подвигаемся. Смотрю, замедлили ход. Совсем остановились.

— Ну, в чем дело? — кричу. — Чего там увидели?

Вожак снова засвистел. Теперь олени помчались в другую сторону, в самый дальний угол парка. Летят будто на крыльях. Где там успеешь за ними! Однако гоню коня, стараюсь от леса уйти.

Бежит мой конь, разгорячился, удила рвет, под ногами земли не чувствует, аж страшно стало: а ну как ненадолго споткнется — полетишь и костей не соберешь после.

Сжала я зубы, пригнулась в седле, затаилась. Будь что будет! Саботажников все равно надо взять.

На этот раз вымахали они на самый гребень сопки. Выстроились на камне и смотрят на меня сверху вниз. Смотрят и, кажется, будто посмеиваются над моими усилиями.

— Ну, погодите же, погодите! — грожу им про себя.

На полпути к вершине горы конь сдавать начал. Перешел на шаг, тяжело дышит. Грызет нервно удила. Недовольно ушами стрижет.

Отвязала я от седла бич. Размотала его. Размахнулась и щелкнула им, будто выстрелила. Пантачей как ветром сдуло с вершины. Однако с кручи бегут осторожно. За рога свои опасаются.

Сбежали в долину. Вижу, бока их залоснились. «Ага, — думаю, — и вам нелегко». Еду сбоку, со стороны леса. Вон ограда нижняя показалась. «Ну, небось, набегались, хватит». Только подумала так, а они, как горох, врасыпную. И снова, заметила я, по сигналу вожака действовали. Рассыпались и ушли в лес... Поворачиваю коня, а сама чуть не плачу. С седла валюсь уже от усталости, да и конь стал все чаще спотыкаться. Смотрю на солнце и ахаю: уже обед подходит! Да хоть бы подмогу догадались выслать! Ничего мне с ними не поделать.

— А мы и догадались, конечно, — перебивает жену Анатолий. — Проехал я нижней дорогой, обогнул тот лес и встретил их. Да сразу внамет. Допеку, думаю, не выдержать им гона. Гоню вскачь и бичом еще подхлестываю.

— Ага, — живо вступила в разговор Люба. — Смот-

рю, как пули из леса вылетают. Тут и я давай размахивать бичом. Побежали вниз...

— Сломали саботаж, — смеется Анатолий. — Так в «разлучник» и заскочили с ходу.

— Ну, а как же с обмороком?

— Самый настоящий обморок, — оживилась Люба. — Заскочил вожак к станку, вдруг — бац на землю и ноги вытянул. Перепугались мы. Прибегает ветеринар, говорит: «Воды срочно!» А сам нашатырный спирт ему сует под нос: «Нюхай, нюхай, бунтовщик!»

Принесли воду. Облили его. Смотрим, голову поднял, а потом на ноги встал.

— Что с ним? — спрашиваем у фельдшера. Тот улыбается.

— То ли побегал лишнее сегодня, то ли перед станком так оробел. Только самый обыкновенный обморок.

— Посмеялись мы тогда, — продолжала хозяйка парка. — А с тем вожаком у нас теперь дружба...

— Сынок?

— Он самый, — подтверждает Анатолий. — А слышали вы, как смеются олени? Нет? Тут не расскажешь. Это надо самому подслушать.

3. Зов природы

— А что, нужна ли эта дорогостоящая ограда? — спросили мы Анатолия Григорьевича. — Ведь она тянется на десятки километров.

— Уйдут, — коротко бросает егерь. — Зов природы еще силен у них.

— Были случаи, когда этот самый зов уводил оленей?

— Да. Они используют любую лазейку, чтобы уйти из парка. Казалось бы, чего им еще искать? Травы в парке — лучшие в этих местах. Потом ведь и подкармливаем хорошо.

— О, подкормку они любят, — вмешалась Люба.

— Очень! — кивнул Анатолий Григорьевич. — Собственно говоря, эта подкормка и не дает беглецам отлучаться далеко... Случай у нас был интересный. На одном из дальних участков стояло заграждение из провололочной сетки. Сетка высокая, но в стыке звеньев

как-то образовалась небольшая щель. Ее обнаружили олени. Не прошло и часа, как на воле оказалось около сотни животных.

Основную группу беглецов удалось сразу же окружить и вернуть в парк. Но все же около десятка пантачей ускользнули. Дали мы знать в соседние села и хозяйства. Предупредили местных охотников, пастухов. Несколько оленей обнаружили на ближних сопках. Организовали облаву. Гонялись за ними весь день. А время уже осеннее, на горах выпал снег. С каждым днем становились труднее поиски. Наконец, загнали и этих.

Осталось на воле несколько пантачей. Никто их близко не видел. Прошла неделя, другая. Выпал снег и в долине. Начались бураны. Крепчал мороз. Исчезли беглецы. Ни слуху ни духу. Что ж, ушли, похоже, глубоко в горы или на степь вырвались.

И вдруг как-то вечером прибегает к нам телятница с нашей же молочнотоварной фермы. Прибежала сердитая и напустилась на нас: «Пораспустили своих идолов! Совсем объели, проклятые!» — «Кто? Кого объел?» — всполошились мы. «Да как же, — говорит, — вот уже почти неделю воюю с ним, чертом. А он порастолкает телятишек и все концентраты потрескает, идол. Я его — палкой, а он махнет через ограду да в лес. Отвернешься на минутку, глядь, он опять тут, да еще и товарища ведет. Замаялась я с ними. Кабы нам вволю того концентрата давали. А что они на силосных траншеях творят... Когда же вы образумите их?»

Догадались мы, о ком речь идет. Тут же на ферму выехали. В ближнем лесочке следы обнаружили, а потом и беглецов.

Ничего, справно так выглядят. Спины лоснятся. Видно, жили и не тужили.

4. На ринге

— Устраивают время от времени быки-пантаци и представления, — продолжал, закуривая и весело переглядываясь с женой, Анатолий Григорьевич. — Да, да. Вроде кулачных боев на ринге.

— Интересно!

— Да. Дерутся они по-особому. Бараны, козлы, да и маралы, знаете как, на рогах решают свои споры, а вот быки-олени свой стиль имеют. Представление прямо-таки стоящее.

Начинают обычно так. Что-то там не поладят соперники меж собой. Разойдутся в разные стороны, поковыряют землю копытами, потом поднимутся на задние ноги и — навстречу друг другу. Идут, фыркают, скалят зубы, а передние ноги, согнутые в коленях, несут впереди себя, как цепи. Сошлись, и тут начинается настоящий бой. Бьют по головам друг дружку передними ногами. Поднимают ногу прямо, как палку, и опускают ее на голову противника со всего размаха. Боксерских правил никаких не соблюдают. Приходится вмешиваться и разнимать драчунов.

— И что удивительно, — замечает Люба, — когда зреют панты, драк таких не замечается.

— Да, пантач в это время очень осторожен. Наверное, заметили, как он несет голозу с пантами? За ветку дерева боится задеть.

— Ну, а в «разлучнике»? Ведь их набирается целый табунок?

— Тут принимаем меры предосторожности. Пантач пуглив. Бывали случаи, когда от залетевшей случайно сороки пантачи бросались врассыпную, топтали друг друга, ранили панты в толкучке.

— Бывает и так, — добавляет хозяйка. — На территории парка вдруг появляется чья-нибудь собака. Тут уж не жалеют, не разбираются, чья она. Первый, кто заметит ее, немедленно хватается за палку.

— Ведь полиоценный пант, — поясняет Анатолий Григорьевич, — это забота всего нашего коллектива. Представляете, как обидно, если в последний момент перед срезкой у оленя вдруг окажется раненым пант. Это брак. Минус, как говорят, во всей нашей работе...

Беседа затягивается. Молодая семья Мултуевых, по всему видно, влюблена в свою работу. И то сказать — работа интересная, живая, требует от егеря и сметки, и смелой находчивости, и терпеливого упорства. В бесхитростных рассказах Мултуевых по крупницам раскрываются характер, повадки и уже приобретенные оленями некоторые навыки одомашненных животных.

Люба говорит:

— Звери, а кажется многое понимают.

Анатолий, смеясь, предлагает жене:

— Расскажи, как у тебя подводу с силосом увел пантач.

— Это было сделано так, что иначе и не скажешь: увел умышленно! — восклицает Люба. — Видите, вон за Отоголов клетки? Это зимники. Привожу, как всегда, две подводы с силосом. Часа этого всегда ждут. Едва въезжаешь в ворота, как олени бросаются к подводам. Лезут напролом. В тот раз один бык особенно был упрямым и нахальным. Идет прямо на меня. Я его раз отогнала от саней, другой раз, а он все свое. Глаза покраснели. Вижу — расвирипел. Раскидываю силос и с опаской поглядываю на него. Он исчезает. Разношу я силос с первой подводы, про вторую забыла. Смотрю, а тот пантач увел коня в дальний угол и потчуетсЯ силосом вволю. Я так и ахнула. Как же это, думаю, так получилось? Не мог же он, в самом деле, увести за собой коня! Потом уже сообща разобрались. Подошел, видно, пантач к коню и каким-то образом захлестнул себе на шею вожжину. Пошел от коня, а вожжи натянулись. Он дернул сильнее — лошадь и потянулась за ним.

— Вот такие номера откалывают наши питомцы, — весело сказал Анатолий Григорьевич.

Мы обратили внимание на то, что зимники совсем не утепляются. Нет ни стен, ни навесов — открытые площадки, разбитые на клетки изгородью.

— Зиму олени переносят хорошо под открытым небом. Но навесы делаем. Каждую осень, для стельных маток.

Кто-то спросил о хищниках. Ведь их, наверное, немало здесь. Вокруг тайга, горы...

— Олень — только с виду безобидное животное, — рассказывает Анатолий Григорьевич. — За себя постоять может...

Вот такой был случай в прошлую зиму. С теми же самыми беглецами. Тех двух, которые приохотились к концентратам молочнотоварной фермы, не сразу мы загнали в парк. Один пантач долго еще бродил около парка. Следы мы его обнаруживали ежедневно вокруг ограды.

Как-то рано утром, еще как следует не рассвело,

поднялся вдруг переполох где-то у верхней ограды. Летят оттуда, как угорелые, табунки оленей к зимникам. Дрожат, пугливо фыркают и все вверх смотрят, к горам. Вскочили мы с соседом на коней, взяли ружья, собак — и туда. «Не иначе, — думаем, — зверь близко к ограде подошел».

Подъезжаем к лесу. Тут ограда в самую скалу одним концом упирается. Внизу еще темь. Ничего не видно. Спускаемся осторожно. Ружья наизготовке держим. Вдруг собаки наши будто взбесились — залаяли в один голос и рванулись в лощину. Оттуда наперерез им к лесу метнулась тень. Кони зауросили, зафыркали, норовят назад повернуть. Мы разом выстрелили наугад, но где там! По тени стреляли!..

Собаки гнали хищника — а это был волк — до самого леса. Свернули мы в лощину, и здесь повстречались с беглецом-оленем. Он прижался задом у изгороди и скалы в угол, нацелившись рогами. Когда совсем рассвело, мы обнаружили притоптанный снег и поняли: как ни ловчился хищник, как ни прыгал, а взять оленя не смог.

После битвы на тропе пантач охотно пошел в парк. Видно, несладко жилось ему в одиночку, хотя и на свободе.

5. Пришельцы

— Бывают у нас и неожиданные гости, — снова подала голос Люба.

— Правда, — подхватил Анатолий Григорьевич. — Заскочили в парк несколько диких коз. Как это им удалось, до сих пор не знаем. Только смотрим: новый табунок появился у нас. Ходят от оленей чуть поодаль и уходить, похоже, совсем не собираются.

— Снег был глубоким в ту зиму, — вспоминает Люба, — а в нашем парке, на солнечной стороне, тебе-невать хорошо было.

— Тут уж, наверное, у охотников зачесались руки. Не правда ли, Анатолий Григорьевич? — улыбнулся я. Молодой егерь засмеялся.

— Что правда, то правда. Да вот ведь закавыка какая получилась: взять их было трудно.

— В парке трудно? — усомнились мы.

— В том-то и дело. Парк-то против нас обернулся.

— Каким же это образом?

— А вот каким. Мы, конечно, решили использовать оплошность незваных гостей, но они повели себя очень осторожно с первого же дня. К ограде близко не подходили. В дальние места не забивались. Избегали овражков, лощин и леса. Пасутся у всех на виду, на открытом склоне. Тут же олени ходят. Ты к ним, а они, почуяв опасность, — к оленям. Да прямо в самую гущу норовят затесаться.

— А олени?

— А те словно понимают, что их гостям угрожает смертельная опасность, не разбегаются, наоборот, держатся табунком. Пропустят коз в середину и стоят, смотрят на тебя с таким вызовом, дескать, стреляй, если можешь, стреляй, если и мы тебе не дороги.

— Долго так водили за нос наших охотников те гости, — сказал Люба, — а потом ушли... Через ту самую сетку — снова концы отошли в стыке. Там и щель-то сразу не заметишь, а им достаточно...

Над Отогольской долиной плывет звездная ночь. Шумит по камням, хлопочет о чем-то своем неугомонная горная речушка. Где-то в парке настороженно свистнул пантач. Послышался отдаленный стук копыт.

Анатолий прислушивается, потом встает и надевает телогрейку.

— Пора. Объездной возвращается.

Мы провожаем его до речушки. Там он садится на коня и едет вдоль парка в горы.

Снова свистит где-то осторожный пантач. Он тоже, видать, заступил на вахту.



НА ТРОПЕ МУЖЕСТВЕННЫХ

Много к Акташу троп сходится, но это тропы мужественных и сильных. Акташ... Хранилище тайн и легенд. Суровые, неприступные с виду горы. Хмурый пихтач на скалистых склонах. Кладовые несметных богатств.

Я сейчас посмотрел на него глазами послевоенного 1946 года. Почему-то всегда хочется заглянуть в сегодняшний день, отступив назад, чуть-чуть приоткрыв завесу прошлого. В этом даже есть какая-то настоящая потребность.

...Тогда в Менской долине, пустой, необжитой, гуляла сухая, колючая поземка. В кузове открытой полуторки сидело человек шесть моих случайных попутчиков. А может быть, я был случайным среди них, потому что на протяжении всего долгого и трудного пути они держались особняком, настороженно и с откровенным страхом поглядывая на горы. В Чибите шофер подобрал еще одного «пассажира». Это был совсем еще мальчишка. По лицу — алтаец или казах. Он был в залатанном кожаном плаще, на голове огромным грибом возвышалась старая, изрядно пошарпанная шапка-малахай. У мальчишки были смелые открытые глаза. И мне запомнилось, как он, перевалившись через борт и споткнувшись о поклажу моих спутников, усмехнулся, прошел к кабине и стукнув по ней ладонью, сказал:

— Поехали! Ничего, поди, не замерзну пять-то верст!

Похоже, шофер знакомым был человеком. И еще я заметил: держался мальчишка независимо и даже больше — хозяином этих суровых мест. Мы разговорились.

— А я тут на руднике работаю, — небрежно обронил он.

— В шахте? — недоверчиво покосились на него мужики.

— Пока на поверхности, — ответил, хмурясь, тот и, рубанув вдруг в воздухе рукой, уверенно добавил: — А шахтером все равно буду...

— Ты кто? — поинтересовался я. — Здешних мест?

— Почти что... Оттуда вон, — мальчишка кивнул куда-то в сторону открывающегося впереди ущелья.

— Из Кош-Агача?

— Ага... У бабки там жил. Теперь на Акташ перебрался. Дядя тут у меня. Хочу я горняком стать... Они вон как трясут эту шайтанову гору.

Впереди за узким ущельем, высоко взметнув островерхую вершину, покрытую тучами, синела огромная гора.

— Это она и есть... Акташ-гора... Бабка говорит: «В ее нутре шайтан поселился. От его дыхания все гибнет кругом». — Мальчик засмеялся. — А это вовсе и не шайтан, а такой металл, ртутью прозывается...

— А что ты делаешь?

Он смущенно швыркнул носом:

— Пока... водовозом работаю... Воду на Средний стан вожу. Пока... Понимаете?

— А в шахте был? — это мужики.

Подросток снисходительно хмыкнул.

— Жить тут и в шахте не побыть... Что же это?

— Как тебя зовут? — интересуюсь, вытаскивая блокнот.

— А ты куда записываешь? — подозрительно сощурился он.

— Да просто... На память...

— У директора будешь?

— Буду.

— Скажи ему: приду проситься в шахту. Я от своего не отступлю...

Полуторка быстро проскочила долину и круто свернула влево. У речушки затискались в какие-то кучугуры. Вокруг — вывороченные с корнями деревья, огромные валуны. Темнело. Впереди мелькнул огонек. Мужики остались у машины, а мы пошли по просеке. Вскоре перед нами открылся небольшой поселок. Несколько избышек и целый рядок низких дощатых бараков. Слева у речушки стоял единственный двухэтажный дом. Свет стру-

ился из всех окон. И было видно, как в каждой комнате копошились люди.

— Там, — указал на этот дом будущий шахтер. — Все там начальство. А я тут живу, — и он ткнул рукой в направлении ближайшего барака, из подслеповатых окон которого едва пробивался наружу желтоватый лучик света.

Мы расстались. Я и после, работая собкором краевой газеты, не раз был в Акташе. Где-то долго хранился блокнот с первыми записями, да затерялся. И вот прошло почти четверть века, и я снова в Акташе. Надо было написать для Горно-Алтайского облрадио очерк о лучшем бригадире проходчиков Лече Кусаиновиче Муктасырове, удостоенном высшей правительственной награды — ордена Ленина.

...Сидим в благоустроенной квартире, и я с «пристрастием» интервьюирую знатного шахтера. Меня насторожили его слова о Кош-Агаче, о бабушке, о легенде с шайтаном... Это его рассказ о далеком детстве, о мечте стать горняком. И в моей памяти прорезалась почему-то запомнившаяся встреча в машине... Муктасыров подумал, потом долго смотрел на меня и, улыбаясь, пожал неопределенно плечами:

— Не помню... В Чибит я часто нырял... Картошку там промышляли. Жиров у нас было много. Прямо пуды масла лежали у каждого... конфет, пряников полно. По картошке скучали. Не хватало ее. И оживившись: — Так говорите, на водовозке работал? — И смеется: — Ну, так это я и был... Мешка не было? Значит без добычи ехал...

...Заслуженный шахтер. От водовоза до мастера проходки — его двадцатипятилетний путь. Небольшая авария не пустила больше в шахту. Повреждена рука. И на поверхности нашлась работа в охране. Семейой обзавелся. Сыновей растит.

— Эти уж от настоящего горняцкого племени корешки, — со светлинкой горделивой в глазах говорит он...

...Рос рудник. Набирал мощность. Оснащался современной техникой. Незаметно и люди поднимались. Мужали на суровых акташских ветрах. И характеры оттачивались в закалке.

История Акташа — это история горняцкого подвига. А легенды — это для украшения. Мы слышали в Чуй-

ской степи новый сказ о том, как молодой казах победил в Акташ-горе злого духа Эрлика. Это он будто напускал зловредные пары на все живое вокруг, пробиваясь наружу... А когда почувствовал, что не уйти от грозного Батыра, пробравшегося в кладовые горы, метался, плакал ядовитыми слезами и исчез. А те слезы превратились в самый тяжелый металл — ртуть...

Кто этот батыр? Бывший пастушонок Муктасыров? А может быть, степняк из-под Новосибирска, ныне почетный горняк, прославленный бригадир проходчиков Василий Савенко?

...Осень к Акташ-горе прорывается чуть ли не с весны. Во всяком случае, у нее постоянная зона тут есть, вроде пристани, которую оберегает. Место это почти у самой кромки никогда не таявшего снежного наста на вершине горы. У ледяных сосулек, свисавших с того самого наста, сочится светлая снеговая вода. Вокруг желтая сухая травка и камень. Правда, акташцы и тут преуспели: они подцепили к вертолету огромный железный шпиль на треноге и поставили его на малюсенькой ровной площадке. Тот шпиль называли ретранслятором. Он разыскал для них где-то в эфире голубые лучи и подарил телензображение. Теперь голубые огни чуть ли не из каждой квартиры светятся.

В августе осень уже расширяет свою территорию, до Среднего стана спускается. В сентябре — всю хозяйничает по всем окрестным урочищам. Дожди льют вперемежку со снегом.

В один из таких неласковых осенних дней и принял задание на новую штольню Василий Савенко.

— Идти будет трудно, предупреждаю, — сказал инженер. — Очень крут горизонт, под углом 32 градуса идти придется...

Савенко только что вернулся из отпуска. Из своей бригады он нашел только Юрия Устюмбекова.

— Новую бригаду будем формировать, Василий...

— Ты что — смеешься? — не поверил Савенко, — Такой горизонт и... новые люди? Да где их взять?

...Вечером обсудили этот вопрос при главных специалистах.

— Ничего не попишешь, Василий Михайлович, — сказал главный инженер рудника Корнев. — Надеемся на твой опыт... будешь учить молодежь... У тебя есть хо-

роший помощник Устюмбеков. Принимайте ребят и, как говорят, ни пуха тебе...

Вот и молодые проходчики. Парни вроде бы неплохие... А как в деле? Да еще ведь и штольня что скажет. При таком уклоне да вдруг вода? На два фронта придется работать...

— Ну, вот что, парни: делай, как мы, — он кивнул на Устюмбекова. — Будем «двор» расчищать... Включай насос.

На выемке понял еще вчера, когда был здесь с инженером, что место это уже успел кто-то поковырять — в небольшой выемке было целое озерко воды. «Сточная. Дожди», — подумал тогда мимоходом...

Насос гремел вовсю, а вода почти не убывала... С досадой морщась, стали ждать. «Перекур» затянулся часа на два. Наконец показалось дно. Вскоре оно очистилось, и Савенко взял в руки перфоратор. Резкая пулеметная дробь расколола воздух и пошла, пошла дробить его по всему ущелью. Устюмбеков примостился рядом. Савенко делал шпур и объяснял:

— Чтобы отколоть породу, сначала забуреваем врубовые. Я больше привык клиновые делать... есть звездочка, котловые врубы... После вруба делаем оконтуривающие шпуры. Сколько этих шпуров — смотри по породе...

Так, работая на забое, учили опытные проходчики молодых горняков. Метров пять прошли благополучно, потом началось...

— Хлынула вода, — рассказывает Савенко. — Один за другим выходят от большой перегрузки насосы. Малоэффективными оказались наши «лягушки», да и слабоваты.

Жена Василия Михайловича Валентина вставляет свое слово:

— Другой раз ждешь, ждешь — нету. «Неужели на вторую смену остался? Мокрый ведь до нитки, продрогший...»

— Приходилось так не раз, — кивает Савенко. — То энергию вдруг вырубят, то воздуха не хватит... А то провоюешь с водой — догоняешь после эти часы.

— Придет домой сердитый, неразговорчивый... Холода пошли... Роба звенит на нем, как броня...

И другое случалось. Приняли в бригаду проходчика Перлова. Опытный горняк. А у него — радикулит. По-

стоял в воде смену, на вторую — в больницу свезли. Не раз по две смены не покидал забоя и коммунист Устюмбеков.

— Трудная складывалась обстановка, — говорит Устюмбеков. — В такой штольне еще не приходилось работать. Держались уже на упрямстве. Надо — сделаем! Медленно, пласт за пластом отдавал забой породу. Штольня, отчаянно сопротивляясь, отбивалась водой, прослойками сланца. (Пластилином его называют проходчики. «Самая отвратительная штука!»).

Похудели парни. Заострились скулы. А в глазах савенковское упрямство: «Выдюжим!»

Слух о небывало трудной штольне, о стоическом поведении проходчиков, их мужестве быстро обошел рудник. Ребятам знали в лицо. Цифры 5 и 24 стали на руднике символом рабочей отваги.

«Пятый уклон. 24 штольня. Угол наклона 32 градуса». В январе ударили морозы. На поверхности под сорок градусов, а в забое на двадцать четвертой штольне почти по колено в воде проходчики Савенко упрямо вгрызаются в глубь горизонта...

Воспоминания бригадира похожи на отрывки из дневника:

«В конце января вышел из строя четвертый насос. Начальник шахты Носов снабдил бригаду грязевым насосом. Этот сильнее. Заглатывает больше воды. Повеселее стало на забое».

«К началу марта прошли половину. Порода сходная — известняк. Песчаник тоже есть, но реже».

«Попеременно с Устюмбековым с каждым из ребят поработали. Хорошая жилка в руках парней: рабочая. Будут проходчики».

«Где-то в марте, в конце, кажется, Николай Галкин почти полторы нормы выдал на-гора... Разик Чокон не уступает ему. Расчетливо и смекалисто отбуривает Анатолий Гусев. У этого что-то свое есть. Какая-то особая легкость в работе. Даже лихость. Красиво работает».

А в поселке при встрече спрашивают проходчики из других штолен:

— Ну-ка, где ваш главный Нептун? Не утопит вас окончательно? — Это в адрес бригадира Савенко.

— А у нас понтоны, — отшучивались парни. — Мы непромокаемы.

Добрая слава — хороший помощник. И молодые забойщики росли, мужало, крепло их мастерство. А за бригадой ревниво следили все. Выдюжат или побьет все же их эта неудобная штольня? А «нептуновцы» вгрызались и вгрызались в породу. Шел вниз неподатливый забой. Иной раз в смену по несколько дециметров проходили. Но чем ближе контрольная отметка, тем, казалось, упрежнее становились парни.

Как-то собрались все шесть у бригадира.

— Господи! — вспоминает Валентина Тимофеевна. — Пообрастали все. Черные. Худые, а он им задачу ставит: «Ну, парни, скоро... Апрель распочали неплохо. Кончить надо контрольной отметкой... Как хотите. Стыдно будет Первомай встретить иначе...» — «И всем враз отметить эту самую отметку!» — порешили парни. И отметили... Прямо из забоя, как были в робах, и завалились к нам... А потом...

— Потом в праздники отсыпались больше, — подхватывает Василий Михайлович.

...Вырос Акташ. Новой современной техникой оснастился. А от трудностей в горняцком деле не уйти.

Много троп сходится у Акташ-горы. Но это тропы мужественных и сильных.



ЧУЙСКИЕ БЫЛИ

Грузный, широкоплечий, в который раз за свою долгую жизнь едет Лаша Аспамбитов по этой высокогорной степи Кызыл-Тау. Невысокий крепкий конь несет его по едва приметной тропе на стоянку. А позади Чаган-

Бургузы. Позади встречи в Доме животноводов. Каждый раз эти встречи как-то по-новому раскрывают смысл жизни.

Лаша Аспамбитов — старший чабан колхоза «Путь к коммунизму». Отец большого семейства. Сыновья и дочери давно вышли в люди, а он по-прежнему не покидает стоянку в Сулу-Апр. Стоянка на пригорке. Отсюда далеко видна степь. За эти годы многое изменилось в Кызыл-Тау. Вот той светлой полоски, которая ярко вспыхивает на утренней и вечерней зорьках, раньше не было. Была перед глазами рыжеватая ранней весной и осенью степь. Мчались сероватыми клубками по этой степи бродяги перекасти-поле... Редкие метелки ковыля качались на пригорках. А этой светлой полоски не было. Днем вокруг нее образуется зеленое море. Это трава. А полоска — вода, Лаша? Может, твои сверстники, старики, подумались добыть ее, а?

Это произошло в пятидесятую весну, Лаша. Если ты помнишь, в юбилейную годовщину Октября. Почему его годовщину ты весной называешь? Да и не один ты. Все соседи по стоянкам тоже называют Октябрь весенним месяцем.

Все это просто. Все понятно. Октябрь принес Кош-Агачу весну. И не только Кош-Агачу...

Вот сегодня в этом Доме животноводов твой сосед Иманмади Касымканов в кругу стариков читал какие-то свои записки. Книгу хочет делать Иманмади. Это интересно. А главное, та книга так и называется: «Первая весна». Верно и то, что весну надо завоевать. И что этот самый Карым, про который он пишет, не твой ли это, Лаша, сын Баташ? Очень уж его характер проглядывается — упрямый, настойчивый. После школы решил поработать в отаре. «Плохим, говорит, буду зоотехником, если со школьной скамьи поеду на него учиться...» Пошел на отару. Правда, там где-то рядом Тойлош с матерью работала. Наверно, она не последняя причина... А нет ли у Баташа такой же соседки? Кажется, нет...

Старик вздохнул с облегчением и посмотрел в степь. Вон та самая полоска воды. А около нее и сейчас зеленеет трава. Это здорово, что сумели добыть воду сразу в пяти местах. Пройдут два-три года, и этих мест, наверно, совсем не узнаешь.

Вот такие, как твой сын Баташ, могут озеленить всю

степь, Лаша... Могут. Помнишь, как-то ровесники его в Тебелере собирались в клубе и обсуждали... Что ты думаешь? Никогда б не догадаться ни одному аксакалу. Завтрашний день села обсуждали. И карту нарисовали. Веселая карта. Село — будто небольшой городок. И электричество. И водоем. И новые дома в ряд. Ну ни дать ни взять — городок. Старики слушали и качали головами. Хорошую, забавную сказку сочинили ребята. Особенно этот пруд. Откуда он возьмется на пустынном месте?

Сколько же лет прошло с тех пор, Лаша? Да не очень много. Тогда на твоей стоянке только начали строить жилой дом. А в Чаган-Бургузы баню открыли. Значит, прошло всего четыре года. И вот в селе прорубили скважину, глубоко опустили трубы, в самое нутро земли прогрызлись, и вдруг вырвался оттуда фонтан воды... Он затопил почти весь Тебелер. День и ночь работали на котловане люди, чтобы собрать ту воду в одно место... Вот тебе и мечта ребячья. Не было воды сотни лет в селе, а может, и тысячи. И вдруг котлована не хватило, чтобы собрать ее всю. Пришлось часть за околицу спустить.

Живучи у ребят мечты. Мечтой и стариков заразили. Сегодня вон в Доме животновода Куандах Чакшинов выступил и потребовал эти самые транзисторы для каждого пастуха. «Пусть радио будет у седла рассказывать мне все новости». Интересно, что бы сказал его отец в ту пору, когда у Куандах еще усы не росли, если бы он привесил к своему седлу то самое кочующее радио? Наверно, сказали б, что Куандах с нечистой силой, с самим шайтаном дело имеет... А теперь и старикам транзистор кажется обычным делом. Почему это? Да потому, что Октябрь с каждым годом в силу входит. Он не только перестраивает жизнь народа, но и сам народ поднимается на такую высоту, которая раньше ему и не снилась. Раньше говорили, когда хотели посмеяться над кем-нибудь: «А ты сгоняй, парень, овечку на Чуйскую степь и напой ее там...» Это было невозможным делом, особенно в зимнее время. И все знали об этом. А нынче в Тархатинской долине более десяти тысяч овец все лето паслось. А эта долина считалась испокон веков бросовой. Сухой. Безжизненной.

Обуздали в Мухор-Тархате Тархатинку и пустили во-

ду по арыкам на степь. Потом обводнили степь с помощью скважин. Там, говорят, около семи тысяч гектаров обводнили. Неужели, Лаша, доживешь ты до того дня, когда вся эта Чуйская степь зацветет, забушует травами? Стоило прожить эти не всегда легкие годы, чтобы увидеть это чудо. Раньше б такое приняли за сказку, за красивую легенду, а теперь не видишь в том ничего странного.

Каждый год давал повод для раздумий, открывал что-то новое, необычное. Оттого и народ смелей стал в своих начинаниях.

А помнишь, Лаша, как пас байскую отару? Ты, пожалуй, постарше был тогда, чем твой сын Телемрай, что служит в Советской Армии сейчас. О чем ты мечтал тогда? О, это были бескрылые мечты, Лаша... Не правда ли? Бай говорит:

— Ты, Лаша, послушный парень... хорошенько следи за отарой. Привеса добивайся. Он в твоё личное хозяйство пойдет, Лаша. Хозяином сам будешь.

Старался Лаша. День и ночь у той отары. К осени хорошо молодняк поднимался. Привес должен быть. Это сколько же ты тогда привесу давал на отару? Наверное, на целую сотню овец. А бай? Осмотрев осенью отару, говорил снова:

— Это, Лаша, легкий привес. Он может за зиму уйти. Сохрани за зиму овечек, вот тогда и посмотрим...

А в зиму околевала на бескормице не одна овца. Так и уплывал привес. У бая росла отара за отарой, а в твоём пригоне, Лаша, не густо было что-то с приплодом. Да и откуда было прибывать? Бай хорошо знал счет своим отарам. Да и не только он умел считать овечек. Помнишь тот случай с муллой, Лаша? Прежде чем прийти к заболевшей твоей матери, он выбрал самую лучшую овцу из твоего выгона. А мать так и не поправилась. Умерла.

Как далеко то темное время. Далеко и близко... Да, и близко. Рукой подать до него. Это у тех, кто слаб духом. А помнишь, как ты, Лаша, и другие батраки бая враждовали между собой? А из-за чего? Что было делить? Хитер бай. Умел играть на невежестве простых людей.

— Ты посмотри, Лаша. — говорил бай, — посмотри, как умеет хитрить Тельденбай... Он до зари встает и захватывает лучшие выпаса. У него и овечки — будто

торбоки. Сильные, жирные. Неужели ты уступишь ему? Тельденбай за хороший нагул и заботу об отаре опояску шелковую от меня получил... И ты бы получить мог. Красива опояска у Тельденбая. Будто радуга. Надо перехитрить его.

И вот ты, Лаша, всю ночь не спал, а к утру захватил все-таки то богатое пастбище. А потом? Потом примчался Тельденбай и вы схватились с ним. Исполосовали друг друга до крови. Врагами стали на долгие годы. А почему? Как-то Тельденбай об этом вспомнил недавно. Посмеялись. Покачали головами. Рассказали молодым ребятам — не поверили. И трудно теперь поверить этому. По-иному воспитывается молодежь. Помнишь, как в Уландрыке разметало во время бури отару Нуртазанова? Около сорока мотоциклистов выехали тогда в степь. Исколесили все урочища и нашли. Нельзя допустить, чтобы погибла целая отара колхоза. И ведь не твоего колхоза была эта отара, а даже твой сын и дочка были целые сутки в розыске. Нашли, и все радовались.

...Едет Лаша Аспамбитов по необозримым просторам Кызыл-Тау. Который раз едет он уже по этой тропе за свою большую, интересную жизнь. И каждый раз эта тропа кажется новой. Может, это не тропа, а мысли всякий раз новые родит она? Может... Если это так, значит хорошая это тропа, Лаша. С такой тропы ведь начинал и твой колхоз, прежде чем вышел на большую дорогу. И тебе не изменила она. Восемь детей у тебя. И у каждого из них будет своя тропа в жизни. Но только тогда они будут большими в жизни, когда пойдут рядом с тропами твоего родного колхоза, твоей страны, Лаша. Это так. Это так...



ШАРГАЙТА— СЕЛО СОЛНЕЧНОЕ

Как только день прибавит шаг, всего, может, на воробьиный клюв, Килемею Иркитовичу уже не сидится дома. Кто-то так и подталкивает в сердце:

— Иди, Килемей, иди. Разве ты не слышал, как у ручья вела разговор с весной синица? Прилетела. И уже хлопочет. С самой утренней зари поднялась.

И потянут, позовут пожилого человека за село бес- покойные думы.

Удивительная вещь — человеческая память! Молчит до поры до времени. Не тревожит. Не беспокоит, и вдруг обнажится совсем какая-нибудь пустячная деталь, а как может она больно ударить! Одна за другой пронесутся картины уже прожитого, бывшего. Все переворошит услужливая память! Зазвенят годы на какой-то совсем молодой волне. Зазвенят, всполошат кровь... В этот раз почудилось, будто на Чанкыре у самой кромки снежного наста качаются на тонких ножках голубые ветреники. Вышел во двор Килемей, а до горы рукой подать. Ну какие там могут быть цветы, когда вокруг всей деревни белое безмолвие, а в воздухе морозная дымка стелется! Рано еще быть цветам, Килемей. Но все равно уже не унять тревожного зова сердца. Может, пора, кстати, и материал заготовить для граблей и деревянных вил. Каждую весну этот инвентарь не минует его рук. Никто, правда, не просит его об этом, не обязывает, как лет двадцать назад, «обеспечить заблаговременную подготовку всего инвентаря к сенокосу». Сам Килемей обязывает себя. Когда человеку за восьмой десяток перевалило, протоколы в его адрес не пишут. Он сам себе пишет их. Совестью пишет. А совесть, этот неписанный протокол, куда как сильнее громких слов...

Коня оседлал Килемей. Приторочил к седлу топор, а когда выезжал за ограду, неожиданно встретился с сыном Айдаром.

— Э, ада, кто это вас гонит из деревни? Или Каурку решили поразмять? — пошутил Айдар.

— Ты, балам, ничего не смыслишь в мужских делах, хоть и управляющим работаешь... Сколько, правда, хозяйством правишь? Небось, уж добрый десяток лет? — старик вприщур посмотрел на сына.

— Пожалуй, — кивнул ему, улыбаясь, Айдар.

— Ну вот. Пора знать: синица во двор — хозяин со двора.

— Э-э, ада, так нас синицы совсем изведут! Где нам мужиков набрать?

— А ты таких не жалея шибко. С них мало проку в делах, — он подтолкнул коленом коня и уже на ходу бросил: — Заходи. Мать дома. А я уж не стану возвращаться.

Айдар посмотрел ему вслед. «Наверное, скажет про себя,—подумал о сыне Килемей,—и чего этому старому не сидится в тепле? Всего в достатке, ничем не обижен... А ты вот попробуй усиди, когда годы в загривок со всех сторон смотрят и нет-нет да позовут к себе... Просто так. Поговорить, вспомнить о чем-нибудь». Он выпрямился в седле, высокий, крепкий еще, будто лиственничный корень, оглянулся на родную деревню и углубился в лес. Годы, они ведь зря не зовут. Им тоже живой голос нужен. А может, спросить о чем задумают? Уж им не соврешь. С ними начистоту. Потому что они — это и есть твоя совесть. Вон там, за Песчаной, в урочище Куберге притаились где-то годы из босоногого детства, а сюда, ближе к Азалу — степенные... Хотя, что вам говорить, это тридцатые-то степенные? Ого, они самыми, пожалуй, горячими и интересными были.

Почему-то пришла в голову... экскурсия. Это на днях было. Целый класс ребятишек ввалился в дом. А среди этих самых остроглазых — добрую половину своих внучат разглядел... И уж не только Боделуковых. Тут и Кокпановы были, и Ойношевы... А все равно внучата. У дочки Шуры кокпановская веточка отпочковалась. От Маруси — ойношевское семя пробилось к свету.

— Ну что, гости, — весело поднял брови Килемей. — Будем чай пить?

— Не-е! Мы экскурсия! — вразнойбой ответили детишки. А одна маленькая, черноглазая попыталась пояснить: — Экскурсия называется... Ну вот когда, значит, ходят все... экскурсией зовется.

— Ишь ты! — удивился Килемей. — И слово-то не сразу выговоришь. (Из осторожности он не стал повторять его. Чего доброго, и вправду язык сломаешь).

— Мы, дедушка, историю села изучаем, — выдвинулась вперед черноглазая. — Нам сказали, что вы — биография всего села...

— Как ты сказала, кандычок мой?

— Биография! — выпалила та.

— Это кто ж такое на старого человека наговаривает? — усмехнулся в бороду Килемей и встретился глазами с женой: — Ты слышала, Айтпас? Биография мы теперь! Не Боделуковы, а Биография, значит!

— Боделуковы, Боделуковы! — засмеялись, закричали ребята.

— Ах, птенцы мои... Вот уж не только гнездышко домашнее, вам и мир становится тесным... Все знать хотят. До всего добираются, докапываются.

Биография... А что ты против этого скажешь, Килемей? Тут, брат, и возразить нечего... виноват, получается: вся история села на твоих ладонях запеклась да на сердце разные узелки завязала. Вот взять хоть те, молодые еще годы...

Он натянул повод и чуть-чуть приподнялся на стременах. Впереди, проев на середине лед, весело побулькивала неугомонная Песчанка... Тут вот с левой стороны по лесу когда-то было разбросано десятка полтора-два аилов.

— Азалу, — прошептал старик. — Отсюда твоя первая дорога, Шаргайта... А еще с Кубергё... Там же и твоя, Килемей, прокладывалась тропка. Первая тропка — от аила до коновязи. А потом все удлинялась, удлинялась. Где их теперь считаешь все? А ребяташки правы: никуда они не разбегались, те тропы. Держались своей деревни, а потом — родного колхоза. Потому и Биография?

Килемей пощипал свою густую бороду и весело посмотрел вокруг. Конечно, с тем имуществом, которое сложили в общий амбар коммунары Азалу, этой поляны им хватало... И выпасов по косогору еще лишку было.

Бедновато было в Азалу, а вот, пожалуй, в биографию села вошла глубоко.

И вспомнил Килемей про Ирбизека. Тогда Килемей мальчишкой голопятым был, с внуком Ирбизека Экене на прутиках ездил. Экене был обычным парнишкой, а про деда его Ирбизека по всей округе легенды ходили. Силы он был невероятной. И это, пожалуй, правда. Взять даже городьбу, которой огораживал он стожки. Срубит молодую лиственницу и тут же ее воткнет в землю с ветками, почти не затесывая. И попробуй вырви ее! Четверти на три уйдет в почву...

Сильным был Ирбизек, а жил полуголодным. По свадьбам ходил, чтобы поесть досыта, по гостям часто ездил. Здоровый был мужик. Только куда силу тратить? У зайсана в батраках гнул спину. Ребятишки его кандыком да пучками больше питались. В те годы не только его семья кормилась травой да корнями съедобными. Ты сам, Килемей, вспомни про свое детство. С утра до вечера с деревянной копарулькой тот кандык промышлял вокруг Куберге. Потом, правда, приспособился зверушек ловить.

Кто же еще тут в Азалу бедовал свою судьбу? Мундукиных несколько аилов стояло... Да, Мундукины. Полные аилы ребятишек. Отчаянными росли мальчишки. Все их краснопузиками звали. Ходили почти раздетыми. А где было что взять? Да и на что? День и ночь промышляли в тайге мужики. Без хорошего ружья какая охота? Сеять начали было... Землю исковыряют как попало — откуда ячменю быть. Ни толкана¹, ни хлеба.

— Ох-хо, — растроганно подумалось Килемею. — Через какой же перевал шагнули люди, что враз вся эта страшная, нищенская жизнь отлетела, будто тяжелый сон!..

Едет Килемей вверх по Песчанке. Знакомые с детства места. Каждый камень о чем-то может рассказать, что-то напомнить.

С чего же все-таки начинали врываться в большую жизнь? Какая сила сумела нарушить вековечную тишину этих долин и ущелий, а главное, пробудила в людях жажду жизни, интерес ко всему?.. А злые силы гнездились рядом. Пугали, устрашали карами. Огонь из аила

¹ Толкан (алт.) — молотый ячмень, которым заваривали чай.

не уноси — все потеряешь в жизни. Не будет дружбы в семье. Умер человек — перекочевывай в другое место и обязательно через ручей или реку. Старшего не называй по имени. А для женщин совсем ходу не было. Какая несправедливость! Она дает жизнь ребенку, а права все в узелке платка. С мужчиной не спорь. Сиди и слушай да волю мужа исполняй. Он хозяин в доме. Его воля — закон. А твоей воли и в девчонках не было. Судьбу твою определял калым.

— Те-те-те, — прорезалась светлинкой догадка. — Надо было человека к червяку приравнять. Ты хочешь жить? Живи. Копайся в земле да навозе, другим не завидуй. Вот так, Килемей.

— И надо же прожить столько лет, чтобы понять все это, — подивился Килемей.

Он переехал речку и, присмотревшись к молодому березняку, выбрал одно деревце с крепкой развилкой у вершины. Хорошие будут трехрожки. Срубил. Сел на камень, стал очищать березку от лишних сучьев. А память подсовывает то одно, то другое.

...Вот эта история с Четом Чолпаном и его дочкой. Смешно ведь прямо вспомнить. Смешно и страшно. За людей страшно: неужели такими жили? Будто беспомощные ягнятишки...

Ак-бурхан, белый бог, появился в образе человека на стоянке Чета Чолпана. Встретила бога дочка Чолпана. Перепугалась до смерти.

А он говорит по-алтайски:

— Я спасти вас хочу от большого греха. Иди по ближним стоянкам и скажи, чтобы собрали деньги: бумажные, золотые, серебряные и медные. В них — зло. И еще скажи, пусть уничтожают все неалтайское.

Побежала девчонка по стоянкам. Всполошился суеверный народ. В тот же день эта весть и до Куберге донеслась. Ты вроде, Килемей, в это время еще в Куберге жил? Ну да. Там, там. Перепугались тогда многие, особенно старухи... А вам, мальчишкам, любопытно было. Ак-бурхан! — шутка ли! А он обещал появиться на вершине холма на белом коне и в белом одеянии.

Поехали ведь многие туда и из Куберге. На Бешпельтир, а там напрямик через перевал на Оро и в Кырлык.

Потом плевались мужики. Ак-бурхан в сговоре с баями был. Скрылся он и деньги прихватил. Жуликом ока-

зался. Бан прятали его. За какую-то «белую веру» сбивали народ.

— Поговорил бы тот «Ак-бурхан» сейчас с Галинкой моей, что ли. С самой младшей, которая успела десятилетку закончить, — подумал, усмехаясь, Килемей. — Она б ему отпела по-своему... Интересно, как бы он повел себя с Петькой, внучком моим? Инженер. Институт кончил!

Килемей рассмеялся от невозможности даже представить себе такую встречу.

Тихо-тихо в березняке. А вроде бы уже покраснели деревца. И тальник того и гляди вымечет пуховые рукавички. «Э-э, недогадливый какой, — улыбнулся про себя старик. — Уже чарым¹ под ногами, а он рукавички вздумал надевать...»

И задумался на минуту. Все это она, память, опять разматывает новый клубочек... Дней через десяток можно и сок добывать у берез... Доили деревья, и еще как, в те далекие годы. Корытце поставишь и ждешь не дождешься, когда береза расщедрится и отпустит сладкого молока. Лакомство для ребятишек!.. А в русских деревнях как-то умудрялись из него квас делать. Едят с просяными блинами и похваляют.

Срубив несколько молодых лиственниц, — хорошие черенки будут для граблей, — Килемей выехал на гребень увала и решил навестить места раннего детства — Куберге. Тут сейчас Борбуев Байрым командует. Хороший табунщик из Байрыма получился. Отцова струнка передалась. Тот, бывало, у коня и спал на потнике. У жены Байрыма, Шуры, — отара. Ишь какой овчарник отгрохали! И домик для жилья веселый, на самом солнечном месте. Чей же тут раньше аил стоял? Кажется, Тату Таркрашева... Дырявый такой аил, будто градом избитый. А Тату первым активистом был, вместе с Михаилом Чалчиковым. Они тогда и подняли людей. ТОЗ сколотили, а потом все вместе — Куберге и Азалу — в Шаргайту переселились. Стал один колхоз «Большевик».

Очень понравилось это слово людям. Что ж, оно и неудивительно. Все эти первые активисты, которые звали к хорошей жизни, большевиками были.

¹ Ч а р ы м (алт.) — твердый снежный наст перед весной.

К стоянке, широкой лавиной охватив ближайший пологий скат горы, подходила отара белых овец. Килемей залюбовался ею. Отара не шла, плыла, будто стоя лебедей. «Это сколько же у Шуры маток? — прикинул глазом старик. — Небось, больше шестисот...» Сердце его радостно встрепенулось. Не отрывая глаз от овец, он вспомнил, какую отару доверили ему в первый год организации колхоза. Одну-единственную отару сбили. Была она разношерстной, и худые и сытые — всех в кучу.

«Паси и береги колхозное достояние, Килемей Иркинович, — сказал председатель. — Тебе доверяем!»

Сколько же было в отаре этого самого «достояния»? Кажись, триста сорок или триста шестьдесят. Тут и молодые, и старые овечки. Бараны здесь же... Но какой гордостью горело сердце Килемея. Никому не доверило правление первую отару, ему доверило... Помнится, когда сел на коня и махнул рукой жене, та улыбнулась и пошла впереди отары, а за ними до самой поскотины шло все население колхоза.

Бабы кричали вслед:

— Смотри, Килемей, моя черная овечка любит по кустам бродить, как бы зверь не зарезал!

«Все еще своими считали, будто отара не была уже общей», — ухмылялся Килемей.

— Айтпас, ты не торопись! Не беги! Пусть подольше на травянистых местах пасутся!

Чудной народ! Будто он с женой не знает, где лучшие пастбища.

Отара разношерстная. Одна-единственная. А сколько же сейчас в Шаргайте вот таких лебединых стай?

Килемей прикидывал в уме, считал, сбивался, снова считал... Вроде пятнадцать получается, и не по триста, а по шестьсот-семьсот, и не разношерстных, а дорогих тонкорунных.

Куберге... Отсюда шли у многих твоих земляков, Килемей, тропки в жизнь. У одних они выросли в большие дороги, у других, может, не такие широкие, пусть чуточку поуже, а все равно торили их сообща, не каждый по себе. В этом, наверно, Килемей, и сила коллективной жизни.

Он слез с коня, по-прежнему ревниво скашивая глаза на подходившую отару. А что ж, у дочери Шуры в Куба-

ше ничуть не хуже отара. Может, даже и лучше... Надо Айдара спросить, у кого нынче лучшая отара по ферме. Шура дочка смекалистая, и в работе с нею трудно спорить. И муж Петек такой же.

Привязав коня, еще раз огляделся вокруг. «Какая же это стоянка! — усмехнулся Килемей. — Тут поселок целый... Домики стоят. Кошары. А это что там?.. Баня... Конечно, баня! Вот тебе и стойбище».

Мимо старика, будто стрижи, пролетела веселая стайка звонкоголосых мальчишек на лыжах. Килемей покачал головой. «Как выюнки. Да смотри ты, какие цепкие, словно приклеенные к лыжам». И тут же ввернулась забота: «Так ли на конях умеют держаться?»

...За чаем с табунщиком Байрым Борбуевым о том же спросил. Байрым прищурил в улыбке глаза.

— Боюсь, Килемей Иркинович, за них: готовы без уздечки садиться на коня.

Килемей удивился:

— Смотри ты... И грамотеи хорошие растут, и наездники. Не мешает, видно, ученость быть и настоящим животноводом... А ты помнишь, Байрым, эликпут в деревне был? — спросил, хитро щурясь, Килемей. Байрым весело рассмеялся.

— Как же, эликпут — козлиная нога... Еще бы, помню. Ликпункт правильно.

— Ну, я тот лик... пункт тоже вроде кончал... И Айтпас училась. Нельзя было отставать от других. Погоди, кто же тогда председателем был?

— Наверно, Садыков?

— Сырай... Да, Садыков Сырай, — подхватил Килемей. — Хороший был человек. Очень добрый. Тогда, помню, Ченар Корлокоев за быками ходил. Сирота. Одежки — никакой. Осень уже наступила. Он между животными протиснется и греется. Увидел это Сырай, снял с себя полушубок и отдал парню. Вот какой он был. И этот самый эликпут открыл... С него ведь и начали?

— Первый наш университет, — посмеялся Байрым.

— Ты вот скажи мне, Байрым, как это время может людей переделывать? — спросил старик.

— Что ж, Килемей Иркинович... У каждого времени есть свои такие силы. Одно время пригибает человека к земле, другое выпрямляет его.

— Верно, Байрым. Разве бы мне с такой семьей можно было выпрямиться в прежнее время? Куда там! Ведь семь ребятишек было! Вон Ирбизек покрепче руки имел... богатырей валил на землю, а жил как! Я вот все думаю: внуки наши, конечно, ворвутся в коммунизм... Что-нибудь может на время и попридержать их, но все равно люди будут идти к нему... Какой же он будет?

— Наверно, очень грамотный, — подумав, сказал Байрым. — Без этого нельзя. Наука и есть бог всему. А мы чудес с неба ждали...

Все это верно, Байрым. Все верно. Но где это мы упустили момент, когда вдруг резко изменилась и жизнь и люди?

Полон дум и мыслей возвращался Килемей Иркитович домой. А самое главное — на душе удовлетворение. Нет, далеко еще до настоящей старости. Килемей еще может и помочь своему селу.

Смотри, какой стала Шаргайта! И, пожалуй, это хорошо, что переехали все к этой речушке Шаргайте. Незамерзающие ключи здешние будто целебные источники. Отстроились все, богатство в каждый дом внесли. Вот это лучшее здание, что это? Своя восьмилетняя школа. А чуть подальше? Там клуб. Пожалуйста, приходи, хоть один, хоть со всем семейством — всем места хватит. Посидишь — кино посмотришь, а то концерт послушаешь.

Тогда колхоз «Большевик» был. Кажется, последний год перед тем, как войти Шаргайте в Барагашский совхоз... Присмотрелись знающие люди из района и сказали:

— Быть Шаргайте первым коллективом коммунистического труда.

А почему? Да потому, что шаргайтинцы дружно поновому жить стали. Сын Айдар знает об этом. Он может сказать поподробнее обо всем.

— Решением бюро Шебалинского райкома партии, — сказал Айдар Килемеевич, — ферме присвоено высокое звание коллектива коммунистического труда. За что? Во-первых, за хорошую трудовую дисциплину. У нас в селе не было нарушений. Мы намного перевыполнили государственные планы по продаже государству мяса, молока, шерсти. Вели большие культурные преобразования в селе. Построили первыми в районе общественную

баню. Большую работу проводили с женщинами. Дети школьного возраста все учились.

Правильно говорит Айдар. Правильно. Помнится, в те годы человек по 40 возили каждое утро в Барагашскую школу в старшие классы. Надо ведь отвезти за 10 километров и привезти ребятшек обратно. Теперь еще один шаг к лучшему: своя восьмилетка. Ну, а тем, кто дальше хотят учиться, — дорога не заказана. Учись. Время такое. А сколько же в отъезде ребят-то?

Сосчитать всех автору этого очерка помогли Айдар Килемеевич и заведующая клубом Валентина Ойношева.

Считали с карандашом в руках, обращаясь к присутствующим в конторе рабочим.

— Давайте считать с пединститута, — предложил предместкома Малчы Муклаев. — Ну, начать хотя с Галинки вашей. Значит, Беделукова — раз. Мендешев — два.

— Сельбиков.

— Муклаева Маша.

— Нет, она в педучилище!

— Тогда Михаил Кокпоев!

— Он в зооветтехникуме.

Кто-то предложил считать по дворам, начиная с Верхней Шаргайты. И так из двора во двор, мысленно перебирая каждого члена семьи.

И вот какая открылась картина: в педагогических институтах края учатся 11 молодых шаргайтинцев; в педучилище — два человека; в медицинском училище — тоже два; в зооветеринарном техникуме — 5 человек; в сельхозтехникуме — семеро и один — в военном училище. Итого 28... А каков резерв у села?

В восьмом классе — 18 человек, в девятом — 12 и в выпускном десятом — шесть.

— Конечно, не каждый из этих ребят оседет в родном селе, — говорит Муклаев. — Наших земляков немало в области работает... Вот я знаю, только ветврачами работают трое: Кокпакова, Илюкина, Ойношева.

— А Юхтуева?

— Она медицинский врач.

— Правильно. Медик. А инженеров сколько? — И Муклаев тут же, загибая пальцы левой руки, стал вслух считать:

— Шурка Кулеев — раз...

— Боделуков Петр — два...

— Муклаева Лида...

— А Наталья Ойношева?

— Она дорожный техник.

— А не инженер?

— Ну почти что... техник все равно что инженер...
А Чалчиков?

— Он юрист... Видите, юрист даже свой имеется.

— Конечно, в обиду не даст шаргайтинцев! — легкая, веселая зыбь смеха. И нам показалось: в нем законная гордость за людей своего села. Да и село ли это еще! Просто горная деревенька в полсотни дворов, а уже какие побеги в жизнь дала!

И это всерьез, навечно...

Старейший коммунист села, один из тех ветеранов, которые связали свою личную судьбу с судьбой односельчан в трудные годы становления новой жизни, Баит Матвеевич Могульчин вспоминает о тех первых годах, как о древней легенде. И понять его совсем трудно.

— Две силы тогда боролись в каждом человеке, — говорит он. — Одна сила тащила его назад, к старому аилу и личной независимости. Будто гири на ногах, было это самое прошлое в человеке. Другая сила покоряла новизной и к себе тянула, словно магнитом. Ну, о молодежи и говорить нечего. Та, как кандычок к солнцу, рвалась вперед. Ей и пахать вместе, на виду друг у друга легче, и лихость свою на коне показать — одно удовольствие. А вот сразу было заметно: легко и просто отрешалась она от неписанных заветов прошлых укладов. Вот из этой, первой когорты молодых и пошли новые всходы во всем...

Новые всходы... А они родились сильными, живучими, цепкими в жизни, упрямыми в делах.

— Помню первый зоотехнический кружок, — вспоминает Баит Матвеевич. — Приезжал тогда к нам ученый зоотехник проводить занятия... Рассказывает он об овце или корове, как о диве-дивном. Кому бы пришло в голову, что у коровы надо подмывать вымя, что самый жир в последних каплях молока... Что простую корову можно раздоить, и она прибавит удои... Овечьи болезни, оказывается, предупреждать можно...

Но самым невероятным казалось то, что человек может менять породу животных, добиваться лучшей, высокопродуктивной... Это было настоящим откровением!..

— Зооветкружок этот самый, — говорит Баит Матвеевич, — посещало все население деревни, хотя к учебе привлекали только тех, кто работал в животноводстве.

Это были революционные преобразования, которые не всегда могли понять старики. Зато молодежь преданно и беззаветно боролась за все новое.

Как-то летним вечером в урочищах Кудаты раздался непонятный грохот. Это вели в Барагаш первый колесный трактор с непонятным названием «Фордзон». На дороге съезжались со всех урочищ, чтобы посмотреть на это чудо, которое само катилось по ухабистой, плохо наезженной дороге.

Все население Шаргайты с раннего утра сбегалось на луг, к устью речушки, где проходил в те годы «большак»...

И вот он, в окружении верховых, показался со стороны Куберге. Перебежал мосток, легко взобрался на горку и покатил к селу. Веселый русский парень управлял им. Остановился на виду у всех, помахал кепкой. Его обступили мужчины...

— Что делать будешь в Барагаше? — спросили его.

— Пахать в колхозе землю...

— Чем пахать? — удивились люди.

— Плугами... Два плуга всю потянет...

И верилось и не верилось... Неужели пахать можно? Подковы, правда, хорошие. Цепляется за землю здорово.

Потом ездили в Барагаш на экскурсию. Возвращались возбужденные. Надо заводить самим таких «железных коней». Ни сена, ни овса не надо. А сила какая!..

...Появились тракторы, и не один. Было это уже вскоре после войны. Нашлись и свои мастера. Не могли они не появиться. Время на таких людей работало.

Одними из первых смело оседлали «железных коней» Амыр Борбуев, Анчи Мундукин и другие смекалистые мужики.

Ну, а теперь их в Шаргайте десятка два, не меньше: и трактористы, и комбайнеры, и шоферы. Время дало им и знание и смекалку.

— Теперь в селе, — рассказывает Баит Матвеевич, — свои зоотехники, ветеринарные работники, учителя. Грамотными стали чабаны. Хозяйство ведут с расчетом... Есть хорошая новинка: в Кубаше в отарах Петека Кокпакова и Ярдака Лапасова идет большой эксперимент — зимний окот. Ничего идет, хорошо... Человек стал распоряжаться окотом. Получает приплод такой, который ему выгоден. И действительно, вот в эти дни идет ягнение. На дворе — февраль. К осени ягнята взрослыми овечками станут. Выгодно?

А в конторе Барагашского совхоза нам дали такую справку: шаргайтинцы получили за минувший год 40 тысяч рублей экономии за счет уменьшения затрат в хозяйстве на производство продукции. Уровень производства повысился на шесть с половиной процентов. Ферма выполнила государственные планы по всем видам продукции. Доярки и многие чабаны получили дополнительную оплату. Стали настоящими мастерами своего дела чабаны Калаш Шагаев, Александр Коркин, Амыр Борбуев, Петек Кокпаков, Ярдак Лапасов, Тажур Борбуева...

Да, Килемей Иркинович, хорошо пошли в жизнь ваши сыновья и внуки. На глазах преобразилось село. Ради этого стоило и жить и работать. А ваша сноха, Килемей Иркинович, Эчиш, которая замужем за вашим сыном Тавытом, как-то нынче летом собрала женщин (она ведь председателем женского совета у вас) и давай пытывать, у кого остались чегедеки¹. И вот ведь ужас какой: ни одного чегедека во всей Шаргайте не оказалось!..

Посмеялись женщины и задумались:

— Надо бы хоть для сцены иметь чегедек, — сказала Эчиш. И с ней согласились. Отрядили Эчиш в город достать шелку, бархата. Привезла. Лучшую мастерицу попросили сшить чегедек.

— А без него нельзя, — говорит Валя Ойношева. — Как покажешь старую жизнь без него!

Так старина становится музейным экспонатом.

Да, стоило для этого жить, Килемей Иркинович. Стои-

¹ Чегедек (алт.) — платье, которое надевается на свадьбе и не снимается всю жизнь, даже не стирается. Таков был обычай. При Советской власти женщины-алтайки с радостью избавились от него.

ло... Еще есть время и на новые перевалы взойти с односельчанами. А эти перевалы в обязательствах на целую пятилетку. Новые стоянки будут расти, вырастут надон, увеличится производство мяса, поднимутся урожан зерновых. К этому шло все эти годы твое село. А кажется, шагают они, эти годы, где-то рядом, и трудные и светлые. Последние почему-то ярче горят в памяти. Так, видно, устроен человек: жить мечтой, жить радостью... Она ведь не старит, радость-то...



РАССКАЗЫ





Васька Горбунов был парнем справным, работающим. По домашности — все горело в руках. Отцовская хватка. У того не было мерил: что утро, что вечер — одна статья: до седьмого пота в работе. Места-то в Катанде — сами на картину просятся, а вот в хлебопашестве — не поработаешь, не поешь. То камни, то лес... Обработать десятину не враз. Годы надо. Работающим рос Васька. Да и то понимать ведь надо: отец с матерью почти всю жизнь мыкались больше по чужим людям. А тут сбились, избу свою поставили, а когда Васька уже подростком стал, купили у проезжих цыган забитую кобылу. Никак не хотела справной быть. Маялась, похоже, чем-то. А жеребенка принесла доброго. Души в нем Васька не чаял. К тому самому лету, когда, уставший от многодневных походов, в село втянулся отряд Петра Сухова, Васька подседлал впервые своего каурого Орлика — таким гордым именем называл он жеребчика. Горячим конем выглядел Орлик. Катандинцы в те дни жили заботами о красном отряде. Бани протопили для бойцов. Хлебы испекли. До прихода суховцев пошаливали недобрые ватажки, а попросту — бандиты. С приходом красногвардейцев — затаились. Ушли по глухим урёмам.

— Эти шутить с ними не будут, — радовался отец. — Наведут порядок.

Но планы у красного отряда были другими. По всей ночи горел огонь в двухэтажном деревянном доме, где обосновался штаб. Суховцы были славными, добрыми парнями. Только сильно потрепанными, исхудавшими. Как сейчас помнится: сидят кто на завалинке, кто на бревнах прямо на улице и чинят, перебрасываясь шутками, шинели свои, гимнастерки, сапоги.

Тут и увидел ее Васька. Статная, подстриженная в кружок девушка вышла из штаба. Легкие красные сапожки обтягивали стройные икры ног. Перепоясанная ремнями — слева шашка, справа сумка полотняная с красным крестом посередине, прошла она мимо Васьки, чуть-чуть насмешливыми глазами стрельнула в его сторону... Остановилась около бойцов.

— А ну, Степан, дай-ка я попробую, — и взяла у одного из них гимнастерку. Боец виновато почесал затылок, смущенно пробормотал:

— С какого краю ни возьму, разлазится, будто паутина, холера ее возьми. Ты уж, Настенька, поаккуратней с ней, повежливей...

— У нас не разлезется, — уверенно сказала Настенька, и вот уже игла проворно замелькала в ее маленьких ручках. Затаив дыхание, смотрел Васька на девушку. И вздрогнул, очнулся, когда услышал голос бойца:

— Нет, ты глянь на этого парня, Настенька. Съест ведь он тебя!

— А что ему меня есть!.. У него, небось, маманя в жаровне баранинки приготовила, блинцов напекла...

Васька потупился, покраснел и пошел к своему дому.

— Не обижайся, парень, — примиряюще бросил насмешливый боец. — Табачком не угостишь?

Василий еще пуще покраснел. Хлопнул себя по карманам, виновато улыбнулся:

— Не курю... Но я счас, счас... У отца есть... злой, говорят, как цепной пес! Я выпрошу!

...Отец только что привел коней.

— Так чего ты в горсть-то, — остановил нетерпеливого парня отец. — Мать! Дай-ка мешочек какой ни на есть... Рубленого насыпшем. Пусть курят, пусть...

Чтобы сократить дорогу, Васька вскочил на Орлика,

бросив на его спину войлочную подстилку, и прямо от ворот помчался к штабу. Дорогой понял: Орлик — это так... для форса. Смотрите, мол, какой я сам орел. И конь у меня под стать... Он устыдился своих мыслей и натянул повод, чтоб приостановить горячего своего питомца, но его уже заметил тот боец, встала с бревен и Настенька. В больших серых глазах ее мелькнуло что-то похожее на восхищение.

— Вот, — сказал Васька, стараясь не глядеть в сторону девушки, и протянул обрадованному бойцу мешочек, набитый табаком.

— Спасибо, парень, спасибо, — вскочил боец поспешно. — Вот удружил... Но за революцией не пропадет. Ты поймей это в виду, парень. Не жалеи!

— Да ну, что вы... отец просил передать свое почтение.

— Ишь ты, — удивился боец и тут же восхищенно присвистнул: — Да ты, брат, врожденный кавалерист! Смотри-ка, Настенька, а?

— Может, сменяем на моего Рыжего? — блеснула глазами девушка и кивнула в сторону площади, где ходило несколько спутанных поджарых коней. Шерсть на них была всклокочена. У многих проступали ребра. Васька смущенно хмыкнул, покачал головой и помчался домой. А потом не находил себе места, совсем потерял покой. Перед глазами стояла гордая, насмешливая Настенька.

Вечером пришел сосед Горохов и, сидя на припечке, нещадно дымя самокруткой, взволнованно рассказывал:

— Парни-то у Сухова с ног валяются... Устали, как черти.

— А кони, — подхватил отец. — От ветра качаются.

— Закачает, небось, — хмуро бросил Горохов. — Верст, небось, тысячу отмахали, и все, говорят, в боях, в боях... Сзади казаки поджимают, а с боков — бандиты щиплют... Похудеешь... И где это регулярная-то Красная Армия? Семен Явцев сказывал, где-то под Уралом с генералами белыми бьется.

— Неужто и сюда казаки нагрянут? — испугался отец.

— Сухов им будто сучок в глазу.

— Это так, — согласился отец. — Коней бы им сменить. Худющие — кожа да кости.

— Пошарить у наших справных мужичков могли бы.

— Не станут. Не та закваска. Красногвардейцы, поинимать надо...

Васька слушал мужиков, и ему стало страшно: а ну как и впрямь заставят отвести Орлика в отряд, а взамен — худобу трехногую подсунут? Сердце его сжалось.

...Чуть свет выехали всей семьей за Катунь на сенокос. Где-то осталась за пихтачом Катанда, а с ней и тревоги. Переворошив рядки, Васька взял литовку. До самого обеда махал ею, обкашивая кусты. А после обеда скопнили подсохшие рядки и сложили в стожок. К вечеру мать пошла к парому — управа есть по домашности. Корова, куры...

Провожая мать, Васька нервничал:

— Пойду? — умоляюще смотрел он на отца.

— Нечего там делать... Переночуем тут с конями, — отрубил отец. — Чего ты забыл в деревне? Все на покосе... торопятся с кормами управиться, пока ведро.

— А мать-то... Что ж — одна?

— Ничего ей не доспееется.

Лежа у костра, Васька думал о Настеньке. Чудная. Одна во всем отряде. Смелая. А красивая... Можно ли еще быть красивее?..

И вдруг — болький толчок в сердце: а если казаки? Как же она на своем Рыжке? Куда на таком адресе ускачешь?

— Тять... А казаки могут напасть... на отряд-то. Слышно, к Коксе подошли.

Отец шуранул палкой в костре. Искры, будто нарядное облачко, рванулись кверху. Заслонясь рукой от ожившего пламени, он огляделся и тихо обронил: — Небось, караулы-то выставлены. Секреты тоже. Чать, не глупые... Посмотри на коней.

Васька поднялся. Прислушался. У подошвы горы в густом черемушнике послышалось далекое пофыркивание. Он прошел кошенину и углубился в кустарник. На большой поляне нашел своих коней. Присел перед Орликом, проверил пута. Тот потерся головой о его плечо, не больно укусил. «Ух ты, Орел мой», — ласково потрепал его Васька по холке. Вдруг где-то совсем рядом послышался топот копыт и тарахтенье. Будто легкая таратайка бежала по каменистой тропе.

Васька шагнул в кусты и затаился. По тропе, кото-

рая сбегала над Катунью в сторону Тунгура, промчались друг за другом с десятков всадников. Последние два верховых шли парно, волоча по земле какую-то тележку.

— Пулемет! — ахнул Васька. Сердце его испуганно затрепетало. — Казаки! Куда они? Почему здесь, по лесу?

Там, где горел костер, вдруг раздался приглушенный крик, полетели во все стороны искры и все смолкло. Только, замирая, еще глухо гремел, удаляясь, окованными колесами по камням пулемет.

— Отец! — прошептал в ужасе Васька. Он вскочил, страшное предчувствие бросило его к костру. Бежал, не замечая чащи, исхлестанный прутьями, поцарапанный, подскочил к месту стоянки и замер: отец лежал у дерева, опрокинутый навзничь. Вместо лица — кровавый студень. Дико вскрикнув, Васька отскочил назад. Упал в траву, забился на ней, по-мальчишески плача навзрыд.

— Тя-тя! Тя-тя! — кричал он, обливаясь слезами.

И вдруг услышал стон. Какая-то сила подбросила с земли Ваську, он кинулся к отцу. Приподнял его. Сдернул с себя рубашку, стал вытирать его лицо. Нервно вздрагивая, Васька с надеждой выкрикивал: — Тятя, не умирай... Тятя... Я помогу... Я сейчас...

Он прислонил его к дереву. Отец поднял руки, ухватился за голову, простонал.

— Шашкой рубанул. Зверюга.

— Тятя, тут в котелке теплая вода... Ты посиди... Посиди. Я сейчас... Я сейчас... — суетился Васька.

Он промыл голову отцу. Обнаружил на черепе глубокую кровоточающую рану.

— Подорожник бы, — охая, попросил отец. — Иль медунку.. выжать. Можно еще... тыщелистник...

Васька выхватил из костра пылающую головню и побежал по полянке, ища нужную траву. Его по-прежнему бил озноб. «Сейчас... Сейчас...» — бормотал он, до боли в глазах приглядываясь к растениям, ставшим почему-то неузнаваемыми при блеклом свете головни.

Наконец он нашел сразу несколько медунок, растер их в руках и выжал над раной... Завязав голову отца своей исподней рубашкой, Васька закутал его в одеяло и, как маленького, уложил у костра. В больницу бы... в Коксу. Да как? И вдруг его осенило:

— Настенька!

— О чем ты? — слабо проговорил отец, с трудом поднимая веки.

— В отряде-то Сухова, тять, фершелица есть... Сам видел. Настенькой зовут... а?

— Погодь, сынок... Оклемаюсь чуть... Оглушил он меня, гад, с вершни. Кабы не откачнулся — отрубил бы напроць голову... За что же? За каку таку вину, а?

Отец закрыл глаза. Передохнул немного. И с тревогой в голосе:

— Свидетелями мы оказались, Васька... Худо, брат. Худо!

— Лежи, лежи, — забеспокоился Васька.

— Уходить нам надо, сынок... В горы... что ль... Подалее от тропы. Ты бы волокушу подпрег да в ущелье отволоку меня. А сам на брод и в отряд...

— За фершалом? — загорелся Васька.

— Не-не... Командиру сказать. Казакишки в засаду, не иначе, пошли... Есть там за Тюнгуром притор... рядом узкая, в одного коня, тропа. Не обойти суховцам притор. Там порешить могут всех. Ну, а если фершелица сможет... прихвати ее с собой. Да матери... Слышь? Матери — ни слова!

— Сполню все! Сполню, тятя! Я сейчас, сейчас... — Васька притащил от стога волокушу и, схватив уздечку, побежал к коням.

А через час-полтора верхом на Орлике он уже скакал по каменной тропе вверх по Катунн — где-то там у долины Лебедей был мелкий перекал.

Скачет Васька в село. Горячей птицей бьется в голове мысль: «Увижу ее... Упрошу. Отдам ей Орлика, а сам за гриву — и рядом побегу. А может, коня своего она в обмен предложит... А главное, от беды спасти красный отряд. Назад ведь ходу нету. Вперед пойдут, на Тюнгур, а там — волчья засада. Там — смерть». Скачет Васька в родное село, а кругом уже светлей становится. Утренняя заря в горы пробивается. Скачет и не знает того, что еще затемно покинул его деревню красный отряд. Уже, хищно озираясь, по его следу крался со своим эскадроном палачей кровавый полковник Волков. И когда на окраине села Ваську сбросит в придорожную траву какая-то неведомая сила, он, корчась от бандитского удара, долго будет в неведении: за что? И только когда,

справив свою кровавую оргию, уйдут палачи из этих мест, боясь возмездия, когда само сердце потребует выхода накопившейся ненависти к палачам, многое поймет простой деревенский парень и в партизанском отряде земляка Явцева он сам примерит силу сабельного удара в первом же бою с бандитами. И не раз в боевых походах ему еще будут чудиться глаза девчонки в красноармейской шинели по имени Настенька... Знала б она, как растревожила сердце парня, как потянулся он к безвестной, непонятной еще, но светлой жизни. И всякий раз, как только ее образ всплывал перед ним, заходило от боли сердце — вину чувствовал. И вдруг — молва: оставил в живых сестру милосердия полковник Волков, велел отстегать плетью и отпустить на все четыре стороны. Бросился по ее следу Васька. В Тюнгуре обошел дома: ушла в Катанду. Домой вернулся: да, действительно жила, оказывается... И совсем рядом — на соседней улице... Уехала в Теректу. Оттуда — домой в Барнаул...

— Жива, — вздохнул обрадованно Василий.

Прошли годы. Разные они были: и трудные, и легкие. Отвоевал свое лихой капитан запаса на Отечественной войне. В родное село вернулся.

— И ведь надо же такому быть! — вспоминает Василий Андреевич и тихо смеется в русую бородку. — До сих пор ведь сидит в сердце занозой... И семья растет, вырастут дети, и борода вон какая, а когда один на один с собой, где-нибудь в поле, так и хочется крикнуть: «Где ты сейчас, Настенька? Все ли у тебя хорошо? Ты имеешь право на большое счастье!..»

Молодость это, что ли, все еще просится в сердце?



Сколько лет нашей деревне? Никто толком не знал, а вот дед Кучук хорошо помнил. Мы его по совету нашей молодой учительницы пригласили как-то в школу, и он, нацепив трудовую медаль поверх шубенки, пришел и растолковал нам так:

— Как не помнить тот год? Зима была, шайтан ее возьми, такая прожорливая, что не подавилась коровой бабки Тойлош, которая кочевала по урочищу Сарычмень. Набросилась на овечек Куйруковых и в одну ночь порешила всех ягнятишек, а у старика Каланака свалила последнего коня... Как не помнить тот год! Тогда бая Кыпчака в Нарым еще сослали. Как не помнить! — Дед сидел около классной доски в шапке и шубе и задумчиво смотрел в окно подслеповатыми слезящимися глазами. Мы тоже повернули туда головы. Только нам представилась та страшная зима почему-то в образе доброго деда Мороза. Он из того самого урочища приносил нам в школу подарки. Наверно, все-таки дед Кучук видел дальше, хоть и слезились его глаза. Он говорил медленно, будто вытягивал слова из того далекого прошлого, которое он видел даже из окна.

— Потом приехал из Шебалино уполномоченный Гуреев, — продолжал дед. — Он попил у меня чаю и приказал объехать все ближние урочища и позвать народ. Когда все собрались, вышел из анкла к костру и говорит: «Ну что, долго будете вы прятаться друг от друга? Так вас в одиночку даже сиротская зима перешерстит всех и по ветру пустит... Лучше вместе вам жить. Сильнее будете». Он поднял голичок и показал его всем: «А ну-ка. Кто у вас самый сильный?» И тут же Карманову: «Ты широкоплечий, товарищ Карманов... Разломи этот веник... Да, да, возьми и разломи пополам! Не разло-

мишь! А по отдельности каждый прутик? Это и мальчишка сделает. Вот так, товарищи... Когда вы объединитесь и будете в одной артели жить, никакие беды не будут вам страшны! Подумайте! Вон Каспа и Апшухта зажили по-новому. Думайте, пока не поздно!» Сказал так и уехал уполномоченный. Стали мы думать. У кого-то арака нашлась. Привезли. С нею сначала было вроде сподручней. Обнимать полезли друг друга. Хитрая это штука, арака. Поначалу сблизит людей, а потом такое может подсунуть, что врагами сделает. Вот и тогда... Карманов стал своего Саврасого подхвалять: «Он меня не раз от волков уносил... Мчался, как ветер, через скалы и речки перепрыгивал!»

Что делает с человеком арака! Никто ему ни слова, а он разозлился, отвязал Савраску и ускакал в горы. А на другой день слышим: сломал ногу. Долго костыль под мышкой держал. Про араку больше и слышать не хотел. Стало его на народ тянуть. Ходит, будоражит всех.

— Хватит волками жить... Пусть человек на виду у всех растет. Сильнее будет, красивее! В одиночку всякие мысли травят, не дают покоя. Оттого и развели молчунов. Человек боится слово сказать...

— ...Вот в тот год и родилась наша деревня, — закончил свой рассказ дед Кучук. — Колхоз стал. Карманова председателем избрали. А мне доверили почту... Да, с тех пор я на государственной службе состою. — Дед строго посмотрел на притихший класс, поднялся, расправил грудь, медаль по привычке потрогал и пошел к двери, независимый, строгий.

...Много теперь уже лет прошло с тех пор. Подросли мы все, а когда похоронили деда Кучука, в деревне стало кого-то недоставать. Без деда Кучука мы не мыслили себе нашу деревню. Жители ее, сколько помнят, видели строгого старика, и никто не знает, был ли он когда-нибудь молодым.

Мы часто подшучивали над старым человеком, и теперь нам невыносимо стыдно от этого. Особенно когда узнали о нем от его старушки, незаметной, тихой и очень доброй. Узнали много такого, о чем и не догадывались. Совсем другим предстал перед нами дед Кучук — почтарь.

...Это было каждое утро, в любую погоду: мы бежим, размахивая сумками, в школу и у каждого, конечно, по

паре собак, которые непременно сопровождали нас. В то же время выезжал из дома дед Кучук. В санях его, поверх охапки сена, всегда лежала огромная кожаная сумка со многими отделениями. Вместо приветствия, дурачась, мы обычно кричали:

— Дед Кучук, подвези немножко! Подвези!

Он останавливал коня и строго внушал нам:

— Аль не знаете, куда еду, а?

— А куда, дед Кучук?

— Я справляю государственную службу, — теребя бородку, говорил он. — Не на свадьбу еду — в район. Развозить людей не положено! Почта — служба секретная.

И так было каждое утро. К вечеру дед возвращался, цеплял на плечо сумку и шёл по деревне, разнося газеты и письма. Многие мы узнали из его личной жизни потом, когда его не стало.

...Как-то в трудную буранную зиму перепрыгнула через прясло во двор Кучука телка соседская. Подбежала к стожку и торопливо, по полному рту стала дергать сено. Старик узнал телку. Постоял некоторое время, подождал, пока та первый голод утолит, открыл ворота и прогнал ее: «Хватит. Поела немного, теперь не подохнешь... Иди в другое место добывай».

Телка была вдовы Каланчиновой, крикливой, нервной бабы. Да и будешь, небось, крикливой, когда на шее пятеро огольцов осталось от мужика.

В тот вечер пришла ее телка хромою. Или завязла где-нибудь между жердей, или угостил кто непрошеную гостью палкой либо камнем. Каланчиниха — на деда:

— Старый шайтан! Клочка объедков жалко! Подавись ты ими, набей ты ими свое ненасытное брюхо!

И понесла, понесла... Не остановить Каланчиниху в гнев. В порошок сотрет, уничтожит обидными словами, да еще и на том свете пообещает кипящий котел и дюжину свирепых чертей...

Никто Каланчинихе не верил, и деду Кучуку сочувствовали. А он с сердцем кричал на баб:

— Не осуждать, а помочь надо ей... Растрещались тут, будто сороки!

Поздно вечером у аила Каланчинихи остановилась подвода с соломой. Выскочила хозяйка и растерялась: дед Кучук метал стожок у ее пригона.

— Гордость замучила... Попросить людей слов не найдешь, — только и сказал старик, поворачивая к своему дому. Как выяснилось после, старик, возвращаясь с почты, свернул на поля и собрал незаметные кучки соломы, выдирая их с великим трудом из-под прессованного снега.

А Каланчиниха все по-своему поняла:

— Виноват, так вот и лазил по снегу. Он от меня за телку одним возом не откупится.

— Дура, — махнул рукой дед, услышав, что говорит соседка. И все согласились с ним.

А как-то подвыпивший после получки чабан Итушев, встретив в сельпо Каланчиниху, посмеялся:

— Давай тереби с почтаря. Хи-хи... Он служащий... выдюжит... А телку твою я угостил: не лазь, не шарься по чужим дворам! Я вот на нее волчий капкан поставлю! А дед, он добрый!.. Хи-хи... Ты жми на него... Жми!

Неизвестно, устыдилась, нет ли своего оговора Каланчиниха, только когда вдруг отчего-то приболел дед, принесла она ему берестяной туесок дикого меда.

— Напарься и пей с чаем. Все через пот выжмет, — наказала она и, пряча глаза, ушла. Ничего этого мы не знали в те годы. Только, когда началась война, дед Кучук стал самым заметным человеком в деревне. В каждом дворе с нетерпеливой надеждой поджидали его. И если проходил мимо — подолгу смотрели ему вслед.

В первое же военное лето мужчин из деревни будто ветром сдуло. Переселились они в какие-то непонятные «почтовые ящики» с загадочными номерами. Потом на «полевые почты», а нас, подростков, собрал под свою руку председатель Карманов и коротко сказал:

— Все, ребята... Отпрыгались. Будем замещать фронтовиков. Теперь и от нас будет зависеть победа.

Мальчишки, которые были поменьше, с утра до вечера в войну играли. И у них как-то все выходило, что Красная Армия легко расквашивала носы «немцам». И те бежали жаловаться матерям. «Немецкие» матери поднимали крик на всю деревню. Жаловались председателю Карманову, чтобы приструнил родителей тех, чьи дети всегда почему-то представляли собой Красную Армию.

Тогда мальчишки стали делиться. И жалоб больше не поступало.

В первый месяц войны писем шло много. Видно, «полевые почты», в которых служили наши мужчины, были далеки от фронта. Солдаты, как сговорились, писали, что «непременно разобьют оккупанта, вторгшегося в пределы нашей родины».

Слово «оккупант» стало ходовым в деревне, и кое-где, говорят, даже появились имена собственные. Так, на второй ферме девчонки называли быка-производителя «Оккупантом». Появились собаки под кличками Геббельс и Гитлер...

В эти дни дед Кучук весело выкрикивал под окнами:

— Держите привет от почтового ящика номер 2525!

У другого окна — другой номер.

И вдруг посыпались на деревню раскаленные камни. Они ранили людей. Пришли первые похоронные. Когда дед Кучук молча приходил в избу, снимал шапку и подозрительно долго рылся в своей сумке, вся семья вставала и с ужасом смотрела на него. А он подавал в руки хозяйки листок с черной каемкой, виновато сгорбившись, уходил за дверь. Вслед ему летел плач всей семьи. Тогда он заходил снова и вытаскивал из сумки какой-нибудь дорогой подарок: то полушало для хозяйки, то ребятишкам что-нибудь из одежды и, как мог, успокаивал. У деда Кучука было две коровы, торбок, несколько овец. Стал он прирезать то одно животное, то другое.

Когда он приезжал с почты, жена обеспокоенно спрашивала его:

— Есть?

— Одно.

— Кому?

— Анча Курганов погиб смертью храбрых. Кару изойдет от горя теперь.

— У Кару совсем ичиги износились, — вздыхала жена. — Босая...

— Давай твои старые пимы починю.

Садился ночью и починял. А утром брал сумку и шел к овдовевшей Кару.

Если в доме оставались ребятишки, он отрубал кусок мяса от прирезанного торбока или овечки и нес пострадавшим.

У соседки Каланчинихи ушли на фронт двое старших сыновей. И надо же тому случиться — на обоих в один день вручили Кучуку похоронные. Сел старик на кры-

лечко почты. Задумался. Бьется баба из последних сил, чтобы прокормить оставшихся тронх, как ей отдашь эти черные бумажки? Какой уж тут подарок смягчит такое горе. Его окликнула молоденькая розовощекая письмоноски.

— Да вот, — отозвался дед. — Сразу два извещения в одну семью. Как отдать?

— А вы и не отдавайте, — тихо проговорила девушка, боязливо оглядываясь. — Я так делаю.

— А можно? — вдруг заволновался. — Разве такое можно? Нельзя так, дочка. Семья на погибших помощь получит, а ты держишь. Ты помни: на государственной службе находишься! Смотри, — и дед пригрозил ей пальцем.

— Жалко людей-то, дедушка, — беспомощно прошептала девушка.

— Что ж делать, — вздохнул старик. — Ты подумай, как отдать, чтобы меньше ранить человека. Думать надо! Думать! Мы же не телефонные столбы с тобой.

Девушка неуверенно отошла от старика. «Будет думать, будет», — решил про себя дед, провожая глазами хрупкую фигурку девушки.

Дома спросил старуху про ячмень.

— Мешка полтора осталось, — сказала она и посмотрела выжидательно на старика. — Кому?

— Каланчинихе снеси полкуля... Скажи: вижу, мол, как мучаешься с детишками.

— Кого из них: Янара или Сашку?

— Обоих. Иди, иди... Завтра про одного отдам извещение... Второе погожу... Пусть соберется с силой.

— Так нельзя, старый... Так больнее, — запротестовала, охая, старуха.

— Как же?

— Не знаю, — качала головой жена. — Может, как-то принародно? Легче при людях-то...

«Верно, — поразился прозорливости своей старухи дед. — Принародно завсегда легче...»

— Ты иди, иди... А я к председателю...

Карманов подумал и поддержал его:

— Ничего неизвестно про их подвиги, вот ведь беда... Можно б зажечь людей... И мать поддержать...

— Смертью храбрых... Как у других и только, — подал голос старик.

— Ладно! — хлопнул себя ладошкой об колено председатель. — Поедем по урочищам, к сенокосным бригадам.

Карманов говорил горячо, убедительно. Приводил из газет цифры о том, как героически бьет оккупантов наша Армия.

— И вот стало известно, как славно сражались, рвали врагу горло братья Каланчиновы, Янар и Сашка, — сказал он. — Героями их называют в полку. Их примеру следуют другие. Такие, как Янар и Сашка, готовили полную победу... Их нет в живых. Они погибли, защищая Отечество. Погибли вместе с другими смельчаками. Пожлянемся быть такими же честными и самоотверженными в труде, как они, защищая нас, были в бою!

Сначала Каланчиниха стояла пунцовая и, перекусывая травинку, смущенно улыбалась. Потом побледнела, качнулась, в страхе глаза вскинула, схватилась за грудь. Ее поддерживали. Стали успокаивать... Усадили. Принесли чегень. Подошел председатель.

— Мы горды твоими сыновьями, мать, — сказал он. — Ты сумела воспитать их героями. Твое горе — это наше общее горе. Славных ребят потеряла наша деревня. Но у тебя еще трое. Надо сохранить их счастье...

Не шумела, не кричала Каланчиниха. С этого дня она как-то притихла, стала ниже ростом, молчаливей, будто ушла в себя.

— Сердце горе ест... Сердце, — тяжело вздыхали женщины.

...Утром по первому снегу выехал дед Кучук в очередную поездку на почту. Километрах в полутора от деревни догнал мальчишку. Падал снежок. Было тихо. Но тишина эта, знал дед, чаще обманчивой бывает. «Вернуться бы до бурана», — озабоченно думал он, пошевеливая своего неторопливого мерина. И вдруг этот необычный путник... Рваный полушубок. Треух, холодный стеганный, на ногах — поношенные ичиги...

— Ты куда? — спросил дед.

Мальчишка потоптался какое-то время, тяжело вздохнул и вдруг с вызовом в голосе буркнул:

— На фронт.

У старика зашумело где-то на сердце... Да милый ты мой, куда ведь собрался-то! И вдруг узнал в нем одного из Каланчинихиных сыновей, Айдара.

— Далеко собрался. Далеко.

— Я дойду... Все равно дойду...

— Конечно, дойдешь. Только в такой одежке тебя не возьмут, Айдар... Все бы ничего, да одежонка плохая. Пробовали вон мальчишки из соседней деревни уйти, завернули обратно.

Мальчик, насупясь, молчал.

— Ты вот, что, Айдар. Садись в сани. Садись. Вот так. Я тебе справлю хорошую одежду. Тогда и пойдешь. Сам сошью. У меня кое-что есть, — он повернул обратно коня, а сам торопливо говорил, говорил, не давая мальчишке опомниться.

— А ты не обманешь?

— Нет. Зачем же обманывать! Ты меня подожди дома. А как приеду с почты — приходи. Ладно?

— Ладно уж... А война не кончится?

— Пожалуй, до вечера не кончится. И завтра еще не кончится...

— Тогда я подожду... Ты только никому-никому не рассказывай!

...Вечером дед поставил в осиннике несколько петель на зайцев. вернулся домой, достал свою старую шубенку и стал молча распарывать ее.

— У кого опять несчастье? — спросила жена.

— На этот раз все спокойно. Каждый день бы так! — весело отозвался дед. В это время скрипнула дверь и на пороге появился, швыряя носом, в одной рубашонке, калошах на босу ногу, Айдар.

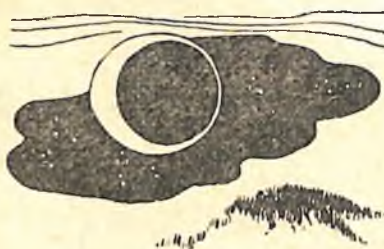
— Ну и молодец, Айдар, — поднялся старик. — Будем кроить по твоим плечам. Иди к огню. Иди!

...А когда шил ему из заячьей шкурки шапку, указал:

— У кого там из твоих товарищей-фронтовиков плохие шапки, пусть идут ко мне... Зайчишки хорошо попадают. Всем сошью!

...В ту зиму многие зайчишки из урочища Сарычмень помогли убереечь горячие мальчишечьи головы от злых студеных ветров и простуды.

Теперь в нашу деревню ходит почтовая машина. А мы часто вспоминаем деда Кучука, и когда собрались писать историю колхоза, решили: без него, так много сделавшего доброго и хорошего людям, не полной будет история. Пусть этот рассказ послужит началом ее.



ПОД ЧАПТЫГАНОМ

Зимовье Кымыя Артушева упиралось изгородью в крутой жирный бок сказочной горы Чаптыган. Велик Чаптыган! В самое небо упирается его мерлушковая папаха. С самого осеннего листопада до тех пор, пока не опалят его грудь и могучие плечи весенние цветы, он заслоняет своей вершиной солнце и держит в тени до полудня все нижние урочища.

На свидание с солнцем, хоть и не очень ласковым в зимние дни, чаще даже колючим, Кымый выходил утрами, в полумрак.

Он поднимался к вершине горы, петляя на лыжах, точно заяц. Потом долго смотрел сверху вниз на голубоватые в утреннем тумане долины, и сердце его наполнялось величием горы-богатыря.

«Только Чаптыган мог покарать отсюда своего соперника, прятавшегося где-то в дымке Катуни. Он закидал Бабырган камнями и навсегда лишил его зеленой прически, — думал Кымый. — В наше время горы не враждуют друг с другом. А все равно, небось, любая горюшка в этих краях позавидует силе и могуществу Чаптыгана. Вот если бы и торбоки мои росли богатырями на траве чаптыганской!» — улыбался про себя Кымый и скатывался вниз. Умел и любил пофантазировать Кымый.

Наступали новогодние дни. Зеленый подлесок примеривал новые шубки. Вчера пролетела очередная стая снежинок. Легонькая, как тополиный пушок, и елки наперебой ловили их своими зелеными иглами, нанизывая одну на другую, и тут же вышивали сказочные узоры.

Кымый исподволь наблюдал за ними и, довольный, улыбался. «Под Новый год разожгу на вершине горы большой костер — и все вокруг запыхает белым огнем... Интересно: увидят ли мой костер в деревне?»

...Вечером приехал на зимовье Чойчи. Старый скотник сгрузил в амбарушке мешки с концентратами и подал Кымыю записку.

Писала зоотехник Майя. По почерку узнал.

— В магазине встретил, — сказал старик. — Отбирала с девчонками елочные украшения. Хотят богатую елку устроить в клубе. — Не торопясь вытряхнул мешки, поколотил об угол амбарушки, полюбопытствовал: — Наверно, про то хвастает в записке-то?

Кымый растерянно посмотрел на своего напарника, торопливо кивнул ему. А Майя писала совсем о другом. Она сообщала об итогах соревнования скотников и чабанов. «Лучшие номера из нашего новогоднего концерта мы посвящаем тебе, Кымый, Улагашеву и Караеву. Думаем, удастся побывать на всех трех зимовьях, так что готовься к встрече гостей! Это будет в новом году. Майя». А в уголке приписала: «Говорят, о счастье надо ворожить под Новый год... А надо ли, если оно рядом? Но в новогодние вечера принимаются важные решения...»

Эта приписка и озадачила Кымыя. Конечно, это шутка. Как понять тогда ее смысл? О чем думала Майя, когда писала эти загадочные слова?

...За ужином Чойчи все поглядывал на молчавшего Кымыя, теряясь в догадках, чем могла огорчить записка обычно веселого парня.

«Наступающий праздник портит настроение, — подумал он. — Конечно, кому из молодых не хочется побыть в такой день вместе с товарищами... Но разве я такая уж развалина, что не смогу с торбоками управиться?»

Чойчи не торопясь, даже как-то торжественно отставил в сторону чашку с чаем и уже приготовился порадовать Кымыя только что принятым им решением, как неожиданно вступил в разговор сам Кымый.

Он лежал на шубах и, поглядывая на раскаленную докрасна железную печурку, сказал:

— Нам бы, дядюшка Чойчи, приготовить на праздник хороший обед...

— Хороший обед? — удивился старик. — Разве у нас плохие с тобой обеды?

Кымый улыбнулся.

— Нет. Обеды сытные. А вот такой, чтобы праздничный, что ли.

— С вином?

— А что? — оживился Кымый. — И вино можно бы, а? Такое, красное... Или как его там называют... Шампанское, что ли!..

— Гостей ждешь?

— Да, — кивнул Кымый. — И приедут они в Новый год.

Чойчи подумал. Не торопясь раскурил трубку.

— С вином в гости ходят, — сказал он. — Такой старый обычай...

— Это особые гости, — улыбнулся Кымый. — Им не положено возить с собой вино.

Чойчи вскинул на парня лохматые седые брови.

— Наши артисты, — сказал, опустив глаза, Кымый. — Они петь будут, играть на музыке...

— А Чаптыган не обидится?

— Зачем же ему обижаться?

— Всяко может, — посуровел старик. — Бывало раньше так, что завалит снегом и ноги не вытянешь... И торбоков не найдешь...

— Ну уж, — недоверчиво усмехнулся Кымый.

— А ты лучше сходи да погуляй в деревне. Я один тут справлюсь. Не бойся. Завтра трактористы еще подвезут целый стог сена. Говорили в конторе...

— Спасибо, дядюшка Чойчи. Можно и так, — согласился Кымый и сразу повеселел. — А потом я вас отправлю в деревню, и отдыхайте хоть неделю!

Чойчи улыбнулся. Хороший, добрый парень Кымый. Сейчас, наверно, побежит на гору и споет что-нибудь. Новый год... Это тоже гора. Перевал. Его пройти надо. И пройти умеючи. Кымый может. Чистые родники питают его сердце.

Кымый действительно стал обходить свои владения, а они у него богатые: елки в зимнем серебре, припудренные легким снежком стожки, а на взгорье — звенящие кисти рябины.

Богат. Сказочно богат Кымый. Ему весело. Он поет песню. А в той песне — одна мелодия. В ней совсем нет слов, потому что поет ее Кымыево сердце. И долины поют. И ели. И горы...

Вот что может наделать с парнем совсем маленькая записка, и не записка даже, а всего несколько загадочных слов. Славная девушка Майя. Боевая, смелая...

Только зачем загадки загадывать? А бригадир Тулунов? Красивый парень Эрке Тулунов... И как секретарь комсомольский неплохой... Как же с Эрке, Майя? Разве ты ничего не обещала ему? А может быть, это только разговоры?

«В новогодние вечера принимаются важные решения...» Я, конечно, приеду на тот вечер, Майя. Обязательно приеду... Может, ты скажешь, Майя, что все это значит?.. А ты не знаешь, Чаптыган? Тебе ничего отсюда, с высоты, не видно?

Ах, как медленно идут предновогодние дни!

Прямо у дверей лесной избушки вырос молодой кедр. Кымый каждый вечер, едва Чаптыган прятал за пазуху солнце, отряхивал от снега одну из его веток.

Вот их осталось, заснеженных, всего четыре. Потом три. Потом две. И тут случилось непредвиденное. Сорвался с обледеневшего камня на речушке дядюшка Чойчи. Промок и заболел. Кымый запряг коня и съездил за фельдшером. Увез фельдшер дядюшку Чойчи, и Кымый остался на зимовье один. Ругал себя старик, уезжая, что не поостерегся, что подвел Кымыя.

— Пропала теперь твоя елка, Кымый, — вздыхал он с сожалением.

— Лечитесь, лечитесь, дядюшка Чойчи... Елок у меня вон сколько. По всей горе! И ели, и сосны, и кедрач...

Конечно, очень хотелось побыть Кымыю в сельском клубе... Сегодня он отряхнул последнюю кедровую ветку и стал таскать хворост для большого костра. Потом наварил мяса. А в полночь развел костер. Чаптыган выпустил из рукава большую луну и повесил на сучке старого кедра серебряный ковш.

Чадит лохматый костер, запуская в темное небо игольчатые искры. Где-то за Чаптыганом прокладывал свою первую лыжню Новый год...

И вдруг на склоне горы, у подножия которой пряталось в низине родное село Кымыя, вспыхнуло сразу несколько красных точек.

«Передают привет зимовщикам, — подумал Кымый. — Может, и Майя вместе там с ребятами...» Он пошуровал в костре, и тотчас рванулись ввысь тысячи искр. Ребята, конечно, видят, как сигналил Чаптыган. Он первым встретил Новый год. Ему же виднее.

...Гости приехали днем. Кымый только успел пригнать

с речушки торбоков и задать им сена, как из-за поворота вынырнула нарядная упряжка, за ней вторая... Сбруя коней была украшена лентами. Под дугами — звонкие колокольчики. Кымый вышел на дорогу. Не доезжая зимовья, с первой подводы соскочила Майя, еще несколько девушек. Эрке солидно перебрал вожжами. Не торопясь вылез из саней и произнес хорошую речь. Он поздравил Кымыя с Новым годом и прикрепил на избушку красный выпел.

— Это знак почета, Кымый, — сказал он. — Будь достоин его... Наша комсомольская организация гордится твоей работой...

Горячо и красиво мог сказать Эрке. Хороший парень Эрке, и с ним, наверно, неплохо будет Майе.

После чая Эрке торжественно усадил Кымыя в передний угол, а сцену устроил у порога, потому что там площадка была побольше. Потом Эрке прочитал стихи, посвященные Новому году, и попросил Майю сыграть на баяне, а Веру Сарычеву спеть. Пели они обе. Все шло по программе, пока сам Кымый не перепутал ее. Ему надоело представлять собой условную публику, он вызвался сам принять участие в концерте. Все, конечно, обрадовались этому, и Кымый, сняв рубаху, исполнил несколько акробатических номеров. Потом имитировал корриду. Бой с быками. Это было так неожиданно, что Майя, хлопая в ладоши, подскочила к нему и выдохнула в самое лицо:

— Спасибо, Кымый... Ты такой и есть, каким я тебя представляла...

Щеки парня опалило жаром; он чуть не задохнулся, а Майя вдруг объявила:

— Кымый поедет с нами по другим стоянкам... У него такие отличные номера!

Эрке растерянно пожал плечами:

— А торбоки?.. У него же нет помощника!

— А с торбоками останешься ты, Эрке, — твердо сказала Майя. — Ты секретарь нашей организации. Подумай, как это будет благородно... Ведь правда? Сам вождь молодежи подменяет в праздник лучшего молодого животновода и дает ему возможность выступить в самодеятельности!

О, Майя могла воздействовать на сердца людей. Все бурно приветствовали ее идею. Только Эрке еще больше

покраснел, опустил голову и нерешительно проговорил:

— Но сам Кымый может не доверять кому попало своих торбоков! Это ж к обезличке ведет! — он с затаенным вниманием и надеждой посмотрел на Кымыя. Ах, как не хотелось Эрке отпустить с Маей Кымыя...

— Ну, ну? — дергали Кымыя со всех сторон девчонки.

— Я, правда, не очень-то и хочу выступать... Какой там из меня артист, — сказал Кымый и сделал растерянное лицо. — Но тебе, Эрке, я вполне доверяю. — Он подумал немного и твердо повторил: — Да. Доверяю. Сегодня понть торбоков не надо уже. Часа через два задашь им сена и немного концентрата... Не могу я, понимаешь, не доверять тебе, Эрке! — Кымый шагнул к растерявшемуся парню и протянул ему руку.

Тот, блеснув сердито глазами, коротко тряхнул ее. Эрке был гордым парнем.

...Всю дорогу до урочища Сары-Кобы Майя внимательно следила за Кымыем. А у того перехватило дыхание от ее влажно поблескивающих огромных глаз.

Ехали зимней сказкой по заснеженному лесу, и лунные дорожки струились, звеня под копытами коней.

После выступления на соседней чабанской стоянке они вытащили из саней лыжи и, не сговариваясь, пошли в гору. Чаптыган снял серебряный ковш с ветки старого кедра и запустил его в сторону Бабыргана. А он не долетел до него и зацепился где-то на Тугае за шпиль ретранслятора. Светало...

Новый год уже свободно командовал рассветом, а людям открыл новые дороги и новые песни. Ни Майя, ни Кымый еще не знали слов своей песни. Они придут. Сами. Их вылепит сердце. Никто не должен видеть со стороны великого таинства их рождения...



ВЕСНА АРСАКАЛА

Дни стояли над Чуйской степью белесые, звонкие. Вся долина от урочища Кара-су до деревни была усеяна перламутровыми ракушками. Это переливались в солнечных лучах льдинки, припаянные легким морозцем к многочисленным вмятинам от подков и копыт. От этого блеска было весело и светло на душе Магузума Асанова. Высокий, костлявый в плечах старик сидел в седле молодо, свободно. В глубоких морщинах, исполосовавших вдоль и поперек его загорелое темное лицо, светлело что-то безмятежное, праздничное. Иногда старый чабан восклицал, широко размахивая тяжелыми большими руками:

— Вот так, Джолтой... И не спорь. Я знаю, что делаю...

Он щурил глаза. Улыбался. В этот день молодость попросилась с ним в дорогу. И вот сейчас, шагая где-то рядом, она придерживала его стремяна, подзадоривала старика, напевая давно забытые песни юности. И он бодро выпрямлялся в седле, что-то мурлыкал в реденькие жесткие усы, беспричинно смеялся.

Въезжая в родное село, по-хозяйски посмотрел окрест. О чем-то вспомнив вдруг, осадил коня у старого куста караганы. Тонкие, жесткие прутья ее росли кучно, от одного корня. Сотни раз обглоданный козами, этот куст неутомимо выпускал каждую весну в рост новые прутья. Вот и тогда, кажется в тот самый май, когда Магузум впервые понял, что Джолтой эта—та самая девушка, которую он не раз видел в своих мечтах, карагана была такой же низенькой, живучей, сильной. Преодолевая робость, он схватился рукой за колючую ветвь и тут же, засмеявшись, отдернул ее. Смех и решил судьбу Джолтой, а Магузум, вспомнив сейчас об этом, улыбнулся и

вдруг явственно ощутил колючки караганы в ладони. Он почесал ее, засмеялся и, отъезжая от куста, повернул коня к сельской чайной.

— Ах, аксакал... Ты бала,¹ что ли? — весело проговорил вполголоса старик и быстро соскочил с коня. Зайдя на крыльцо, обернулся на старую карагану, потом поднял к лицу широкую загорелую ладонь, удивленно качнул головой:

— Разве такое бывает? Будто сейчас впились те колючки... а? — Его встретила молоденькая девушка в чистом, белом фартуке. Она приветливо усадила Магузума за низенький столик и бойко отрапортовала:

— Есть сибирские пельмени, баранина, азу по-татарски, чай.

— Э-те-те-те! — прервал ее старик, подняв руку. — Ты, дочка, не с того конца читаешь... — Он засмеялся. — Ты давай того, где написано про горячее. Разве не можешь? Или грамотой слаба?

Девушка отвернулась, фыркнула в фартук. Озорно сверкала на старика глазами.

— Могу. Пожалуйста...

...Магузум сквозь зубы потягивал из запотевшей бутылки вино и, причмокивая расколотыми на ветру губами, покрикивал. То ли от удовольствия, то ли от того весеннего настроения, который заколобродил в душе старика с самого утра. Да так и не может остановиться в нем. Ему нужно было говорить. И он, щурясь на окно, говорил. Медленно, не торопясь.

— Сына моего не знаешь, Хазбулата?

— Знаю, как же... — сказала девушка и с интересом посмотрела на старика... — Вместе учились...

— А ты чья дочка-то?

— Берсимбаева. Знаете?

— Еще бы не знать... Где он сейчас стоит с отарой?

— В Кара-Кем.

— Все там же, — усмехнулся старик. — Конь к седлу привыкает, человек — к месту...

Он помолчал. Налил еще вина.

— Выпьешь? Угощаю.

— Что вы! — замахала руками девушка. — Нам не положено.

¹ Бала (алт.) — ребенок.

— И правильно, — согласился Магузум. — Не при-
выкай. А я выпью. У меня сегодня хороший день. — Ста-
рик провел широкой ладонью по лицу. — Хазбулат, по-
нимаешь, отару принял... — Он бросил выжидательный
взгляд на девушку. Она понимающе кивнула ему и при-
ветливо улыбнулась.

— Такое вот дело. Теперь он человек самостоятель-
ный, — солидно закончил Магузум и допил вино. —
Пойду в магазин. Куплю ему бинокль. Пусть вооружа-
ется честь по чести. Как положено настоящему чабану.

И уже встав из-за стола, доверительно:

— Джолтой тоже... вроде именинница. Пятьдесят лет,
как живем с ней душа в душу. Юбилей вроде... Ты бы
помогла мне, дочка, платье выбрать. Да хорошее. Весен-
нее... А?..

— Платья привезли. Модные есть, — сказала де-
вушка.

— Ну пусть модное... Не весеннее, а модное. Только
красивое, чтоб к лицу...

...С подарками выехал уже под вечер. Встретил зна-
кового старика. Слез с коня, поздоровался за руку и, за-
лезая тут же в седло, сказал:

— Бинокль взял. Дорогой, собака. Кусается! Но на-
до... сын, понимаешь, у меня отару принял...

— Богат ты, Магузум. Сын уже на самостоятельную
ногу встал. Это хорошо. Что жалеть деньги? — мудро по-
качал сединой аксакал.

— Я тоже так думаю... И еще, понимаешь, Джол-
той... — он свесился с седла и тихо добавил: — Юбилей-
ная сегодня. Пятьдесят лет вместе. Как не отметить?
Вот и ей платье купил. — Магузум похлопал по кожа-
ному арчимаку. — Тут лежит. Совсем как весна...

— Хорошее дело сделал, Магузум, — подтвердил ста-
рик и, пощипывая бородку, весело хихикнул: — Когда
весна рядом — сколько годов прибывает. Не правда ли?

Магузум весело подмигнул аксакалу и тронул коня.

...Проезжая мимо колхозной конторы, Магузум заме-
тил в раскрытое окно кабинета секретаря парткома Чи-
чимбаева, людей. Решил зайти. За большим столом, по-
крытым зеленым сукном, сидели несколько человек. В од-
ном из них признал председателя аймакисполкома. Груз-
ный, высокий, он сам приподнялся из-за стола и весело
кивнул Магузуму. Старик огляделся: Чичимбаев, пред-

седатель колхоза Карыпов, члены правления... Все свои люди. Близкие. Знакомые. Он обошел вокруг стола. Поздоровался с каждым за руку. Сел на краешек скамейки. Все с доброжелательной улыбкой посмотрели на него.

— А у меня, понимаешь, такой сегодня день, — несколько смущенно заговорил он.

— Знаем, — сказал председатель аймакисполкома. — Мяса пажарил?

— Мяса? — не понял Магузум.

— Ну да, конечно. Как же народ-то будешь встречать? — подхватил Чичимбаев. — Смотри, какие подарки заготовили всей твоей семье.

И тут только заметил на краю стола Магузум несколько больших свертков...

Старик обвел глазами улыбающихся людей и все понял. Он растроганно отвел глаза в сторону и увидел в окно на противоположной стороне улицы потрепанный куст караганы. Она тотчас как-будто ужалила его в ладошку. Магузум поднял ладонь к лицу и, поцарапав ее, невпопад произнес: — Такой день у нас с Джолтой выдался... А гостям — первое место в юрте...

Все засмеялись и стали поздравлять его. В глазах Магузума что-то защекотало, и сквозь туман ему показалось, будто карагана тоже протягивает ему свои колючие ветки, и он готов схватить их обеими руками...

...Весна... Та далекая и почти неправдоподобная. Разве это возможно, чтобы она была сегодня совсем рядом?



В БУРЮ

Как часто бывает в горах, буря сорвалась неведь откуда. Тугой ветер прошелся по каменному ущелью, в котором плескалась Катунь, взьерошил воду, метнулся вверх, потрепал кустарник на берегу, потом кинулся в долину и пошел гулять в траве, срывая охапки давно высохших, распушенных цветов. В воздух взметнулись былинки, пыль, сухие листья деревьев. Зашумела, взбурлила Катунь, шарахнулась в каменные щеки берегов одичавшей волной.

Когда доярки, побросав грабли и вилы, подбежали к берегу, чтобы спасти лодку, — было уже поздно. На виду у них под старую лодку, будто хищник, подобралась волна, подбросила ее кверху и швырнула на каменный торос... Лодка, вздыбясь, упала со всего размаха плоским днищем на острый камень, замерла на какой-то миг и с треском развалилась. На бечевке осталось несколько ребер каркаса да перебитый киль. Доярки ахнули и, всплеснув руками, с тревогой посмотрели на противоположный берег. А там уже из ближайшего ущелья к месту дойки одна за другой выходили коровы. Шли они не торопясь, по пути прихватывая траву. Некоторые оставались, мычали, вызывая доярок.

— Моя... Это она, Красуля, — проговорила молодёнькая доярка, подвязывая торопливо платок на голове. — Она не может лишней минуты ждать. Ведерница ведь... Ведерница. А соски слабые... Что же делать? Что теперь будет, а? — Она испуганно оглядела подруг. — И хоть бы бревешко какое пришибло!

— С ума сошла, Нюрка, осуждающе сказала одна из девчат. — В такую-то волну?

— Так ведь солнце закатилось уже! — воскликнула Нюра.

— Ну и темнеет, что ж теперь? Пусть животновод икру помечет, — с нескрываемым озлоблением сказала та же доярка. — Ему надои подай да корма, а сам, небось, ни разу не подумал, на чем это переплавляются каждый день на покос доярки? Ведь на гнилушке плавали. Как еще не затонули. Прихватило б вот так на реке и все, отработались... Так и надо этому чертову корыту! — Она с ожесточением сплюнула и, прихватив ведро, уже беззаботно добавила: — Ягодничать будем. Смотрите, малины сколько!

— А как же дойка? — тихо проговорила Нюра, нервно теребя передник. — Ты, Валя, зря про эти ягоды. Может... на мост, а? — несмело предложила она и посмотрела вверх по реке. Там, где-то за перевалом, должен быть мост.

— Десять верст по этому берегу да десять по тому. Когда придешь к стану? — возразила Валя.

Девушки опустились на траву, прижались друг к другу и пригорюнились. Коровы на противоположном берегу надсадно мычали.

Вот подскочил к стаду верховой.

— Липатыч! — узнали в нем пастуха дойного гурта девушки.

Они вскочили, замахали руками, стали кричать. Заметил. Снял кепку, помахал ею, что-то в ответ крикнул. Да разве разберешь в такую бурю! Девушки сбегали под яр, к лодке подошли, стали показывать ему: вот такое дело, мол, стряслось, как быть? Тот понял. Почесал затылок и развел руками. А коровы выстроились по берегу, как на смотре.

— Ах, сердце мое разрывается, девчонки! — сквозь слезы произнесла Нюра. — Погробим коров! Сколько труда было. Сколько усилий!

Нюра не выдержала, сорвала с головы платок, уткнулась в него. Девушки стали уговаривать ее. Нюра неожиданно успокоилась. Вытерла лицо, встала и решительно произнесла:

— Нечего хныкать. Пошли вкружную на мост. Всю ночь будем идти, а придем!

К месту дойки подошел молоковоз. Новенькая автомашина подрулила к самому берегу, лихо развернулась

и сбросила газ. Из кабинки вывалился вихрастый паренек.

— Федька-зубоскал... — сердито произнесла Нюра. — Уже за молоком пригазовал. Форсун несчастный.

Федор любил одеваться аккуратно. Даже на работе всегда был при галстуке. Приезжая к гурту за молоком, он ходил на цыпочках среди коровьих шлепков, чтобы не запачкать начищенные ботинки. Над доярками всегда подтрунивал:

— Зря вы гоношитесь: не догнать вам второго гурта. Там надой так надой. А у вас что? Так себе. То Липатыч травы не находит подходящей, то соли нехватка, то водопой дрянный... А доярки какие? Иная сосков у коровы не найдет.

Вот и сегодня Нюре показалось, будто увидела она его насмешливую улыбку. «Ну конечно, это же первый гурт. У них все не слава богу», — говорила ей эта улыбка.

Нюра погрозила Федору кулаком.

— Пошли! — махнула девочкам.

Они отыскиали тропку и зашагали по ней. Одна из девчат сказала:

— Была бы с той стороны дорога на мост — мог бы и Федька навстречу выехать. А то ведь завалы, ущелье. Выезжать на тракт — значит возвращаться в село и кругом километров сто не меньше. Эх, мехдойки нет...

— Пройдем. Не сломаемся, — сказала в ответ Нюра. — Выдюжим. Ничего нам не сделается, девчонки. А про мехдойку ты правильно говоришь, Стеша... Хотя и поздно придем, а все равно успели бы подоить. Все это Маркелов тянет. Вот теперь возьмется за голову, небось, поймет что-нибудь.

А в это время на другом берегу Катуня шло экстренное совещание двух кровно заинтересованных в надое лиц: шофера и пастуха.

— Вот отчебучили номер, а? — насмешливо фыркнул Федор. — Весь удой насмарку! Ну и дела!

— Дак вот, — сказал Липатыч, хмуро посасывая самокрутку.

Помолчали, Федор нервно попыхал папироской и, бросив ее, встал.

— Ну, видно, ждать тут — пропащее дело. Поеду. — Он взялся за ручку дверцы.

— Ты это того, Федор, — остановил его Липатыч, — повременил бы чуток, а?

— А чего ждать-то? Концерта не слышал? — выкрикнул Федор, кивая в сторону мычащих коров.

— Прямо не знаю, что бы такое скумекать-то... Девки в обход поперлись. Видел? — сокрушенно проговорил Липатыч.

Федор открыл дверцу кабины и плюхнулся на сиденье. Он посидел, нервно покусывая губы, соображая что-то, потом вскинул голову, быстро опустил стекло и крикнул Липатычу в самое ухо:

— А что, если поагитировать девчат из второго гурта, а?

Липатыч, будто кто ужалил его, затряс головой, замахал руками:

— Да ты что? Нет, брат. Сраму на весь колхоз не оберешься. Засмеют!

— Ишь, какие обидчивые! — усмехнулся Федор. — Что же делать-то?

Он вылез из машины, крепко стукнул с досады дверцей и пошел к берегу. Ветер стихал. Но Катунь по-прежнему бесновалась в крутых скалистых берегах. К нему подошла корова и рогом легонько боднула в спину.

— Ну, ты, холера! — отскочил в сторону Федыка. — Своих не признаешь?

Корова шагнула за ним.

— Вот ведь чертовка какая!

— Красуля, — дрогнувшим голосом произнес Липатыч. — Требуется... Видишь, молоко теряет, — он указал на траву. — Знатная корова. Не животное, а прямо молочный завод, — вздохнул Липатыч.

— Завод, завод! — вскипел вдруг Федыка и сорвал с себя пиджак. — Давай халат, где у вас подошник? Что ж мы, звери, что ли? Вишь, как мучаются коровы... И сам давай... Сам включайся!

Липатыч крикнул, хлопнул Федора по плечу, хотел сказать что-то ласковое, благодарное парню, да не нашел подходящих слов, махнул рукой и бросился к шашлу.

— Ладно уж... ладно, — бормотал Федор, засучивая рукава и с сожалением поглядывая на свои начинен-

ные ботинки. — Только ты, слышь, Липатыч, никому! Ни одной душе об этом, а то узнают — прохода не дадут!

— Могила! — стукнул себя в грудь старик. — Ни звука! Разве я не понимаю!..

— Ну вот так, — успокоился Федор и подошел к Красуле. — Сейчас, брат, я тебя в два счета обработаю. — Он подсел к вымени и взялся за соски. Но Красуля сердито обнюхала его, фыркнула и резко ударила ногой. Федор пошатнулся.

— От черт! — озлился он. Перед ним выросло привидение в белом.

— Липатыч! Спротивляются дьяволы. Как шарахнет!..

— Возьми халат. Это Нюркин... Примет!

Федька неуверенно взял халат.

— И ломтик хлеба возьми. Подсласти. Приучена.

Федор подошел к корове.

— Тпрутя! Тпрутя! — приговаривал он. Потрепал по шее и подал кусок хлеба. Потом не совсем уверенно сел под бок и, настороженно поглядывая на задние ноги, начал дойку. Где-то рядом ударили тугие струи молока о звонкий подойник. «Липатыч примостился», — подумал Федор.

А у него первые струи упали на траву, обрызгали колени.

— Нет, так не пойдет... — Федор отставил подойник, морщась с досады, отряхнул брюки и пошел к машине. Включил свет.

— Ты что? — забеспокоился Липатыч.

— В землю-то хоть сколько дой, — откликнулся Федор, возвращаясь к Красуле. — Вот теперь порядочек!

Пока он выдаивал Красулю, его окружило несколько коров. «Видно, все они Нюркины», — подумал он и стал торопиться. Но уже вскоре у него стали неметь пальцы. «Вот ведь еще, черт возьми, — подумал Федор. — А как же она? — вспомнил о Нюре, с опаской поглядывая на окружающих его коров. — В день три раза... Шутка сказать!»

Подойник быстро наполнялся, а вымя, кажется, совсем не опадало. «Вот если каждая даст по стольку, — поежился он, — когда их выдоишь?» Ему показалось,

что сидит под коровой уже несколько часов. Немела спина, шея, все больше становились непослушными пальцы. Наконец молоко шапкой, будто вскипая, поднялось вровень с краями подоюника.

— Флягу! Где фляга? — крикнул Федор, разгибаясь.

— Ох, спина моя, спинушка! — пропищал где-то рядом Липатыч. — Да там же, у шалаша...

— Ладно. Я сам. Видал? Полнехонько! И еще есть! Это, я тебе скажу, корова!

— А я что тебе говорил! — откликнулся старик. — Замотают они нас с тобой, ведерницы-то.

— Ну да, замотают! — усмехнулся Федор и бодро направился к шалашу. За ним потянулась часть коров. «За Нюрку меня принимают, — подумал Федор и усмехнулся: — Доярка!»

После Красули, чтобы ускорить дело, Федор подсел к первой подвернувшейся под руку корове, но та шумно фыркнула, отошла прочь. Федор стал преследовать ее, наконец плюнул и сел под другую корову, та недобро покосилась, но он не заметил этого и потянул ее за соски, приговаривая:

— Тпрутя, Тпрутя!

Корова резко обернулась и устремилась на него, нагнув голову. Федор увернулся и схватил ее за рога.

— Вот ведь чертова кукла! К ней с добром, а она как личного врага встречает. Липатыч! — закричал он. — Липатыч!

— Иду-у!

Пришел старик. Тяжело дыша, сказал:

— Так это же не Нюркины! Понял? Я тебе покажу... Вот пестрая Жданка. Дой, пожалуйста. А эти вот Валькины. Эта Стешки вот, комолая.

— Да что же, перед каждой и меняй халаты? — прозрел Федор.

— А ты думал как? В Нюркином халате — ее коров дой, в Валькином — Валькиных... А то как же? Корова, она не привычна к анархии. Эх, покурить бы! — вздохнул Липатыч. — Да ведь разоблачит нас табачный дух-то.

— Давай уж терпеть будем, — согласился Федор. — Как у тебя пальцы?

— Да как деревянные. Смотри, кто сюда скачет? — он указал в сторону дороги.

— Кто-то едет, — вглядываясь в темноту, произнес Федор. — Иноходец... Чей?

— Иноходец, говоришь? Так это животновод Маркелов.

Всадник подъехал к берегу.

— Эй, кто есть? — раздался зычный голос. — Почему с молоком замника?

К нему подошли Федор и Липатыч.

— В чем дело? К чему этот маскарад?

Липатыч рассказал о создавшемся положении в гурте. Животновода озадачило его сообщение.

— Так что, товарищ Маркелов, вызываю тебя на соревнование, — предложил Федор и, повернувшись к Липатычу, добавил в категорической форме: — Неси халат. Любой. Стешкин или Валюхин. Давай!

Липатыч выжидательно потоптался на месте.

— Иди, иди, — приказал Федор. — Мне ведь, товарищ Маркелов, тоже не положено заниматься дойкой, но, учитывая катастрофическое положение с молоком, которое может «пригореть» у коров, дою. Вот уж третью флягу наполняю.

— Нда, — замылся животновод и нехотя слез с коня. — Погубить стадо можно так-то...

— Запросто! — поддержал Федор.

— А у меня, как на грех, на правой руке, сам знаешь, две култышки вместо пальцев-то...

— Кулаком. Кулаком, товарищ Маркелов. Сам же учил девчонок! — подсказал Липатыч, подавая ему халат. — Кулаком еще способней... Халат-то вроде бы Стешкин. Маловат будет, да сойдет. А коровок ее покажу... Вот она первая, комолая, потом Незабудка есть, бусая такая, Королева, Дочка есть...

— Ну, ну, хватит тебе, — буркнул недовольно животновод, но халат принял.

— В нашем полку прибыло! — весело сказал Федор. — За работу, товарищи!



ГОДЫ ШАГАЮТ РЯДОМ

Лед на Чарыше зиял ранами. «Будто после артобстрела», — подумал Виктор Павлович Стрельцов, покидая полуторку. Там, за рекой, виднелись строения. Райцентр. А дальше до самых гор на полста километров горбатилась снежными увалами предгорная степь.

— Никто вас не встречает, Виктор Павлыч, — озабоченно оглядывая противоположный берег, сказал шофер. — Как быть?

— Очень просто, Макарыч... Пойду пешком.

Стрельцов взял чемодан, тросточку и, припадая на левую ногу, двинулся к реке.

Шофер крикнул, потоптался с минуту у машины, решил:

— Одного я вас не пущу. Погибать, так вместе. Давайте вашу кладь.

И не широк в этом месте Чарыш, а когда перешли его и выбрались на каменную плиту, тут же уселись и закурили. Стрельцов смахнул с лица рукавом шинели испарину.

— Ну вот. Вы теперь, Виктор Павлыч, на своей территории, — сказал шофер, затягиваясь махоркой. — В ранешнее-то время приходилось бывать секретарем?

— Нет, Макарыч... Не приходилось. До войны агрономил. На фронте начальником политотдела танковой бригады был.

— А-а, вот тебя, значит, из госпиталя крайком и взял под свою руку... Раз из политотдела, значит и райком потянешь.

Стрельцов вздохнул. Так, видно, все и получилось. А война ведь еще продолжалась. Шел 1943-й. Переломный.

— Ну тута, скажу тебе, Виктор Павлыч, почижалей будет... Намного чижалей! Бабы ведь да ребятёшки остались, а то вроде меня или тебя вот, с ногой, обломок какой появится. — Он вздохнул: — Курорта не будет, Павлыч, не будет...

— Да уж какой там курорт...

— Это точно,—Макарыч поднялся. Посмотрел на село. — Хоть бы подводу тебе, что ли, прислали. Неудобно как-то...

— Подожду, может и подошлют. Звонили из крайкома. Наказывали. А ты иди, Макарыч... Солнце-то ишь как разыгралось! Март все же.

— И то... пойду уж... Лед больно ненадежный.

Они попрощались. Стрельцов дождался, когда полуторка развернулась и ушла в обратный путь, к железнодорожной станции, подхватил чемодан и направился в село.

...Часа два петлял Стрельцов по улочкам и закоулкам огромного села, пробираясь к центру. Наткнулся на мальчонку, рубившего в забоке у Чарыша еловые лапы.

— Зачем ты их... неужто топить?

Мальчонка испуганно осмотрел незнакомого человека.

— Корове.

— Корове? Как же? — подивился Стрельцов.

— Сечку из соломы делаем и хвою добавляем.

— Ишь ты, наловчились. Ест?

— А как же... Корова ить. Ей хоть чего, — повеселел мальчишка. — А вы с фронту?

— Почти... Ты бы мне райком показал.

— Райком? Пошли... Райком я знаю. У меня брательник в нем служил. — Он многозначительно посмотрел на незнакомца и добавил: — Смертью храбрых... погиб... Отец без вести канул.

— Кто остался?

— Мамка... да сестренки меньшие, да я. — Он тяжело вздохнул, отвернулся. — Мамка спонталыку сбилась.

— Как это?

— Да так... с горя. Наварит из свеклы самогону, других баб созовет и пьют. Нельзя ведь пить-то. Кто же останется? А у нее и медаль есть... Свеклу на тракторе обрабатывала.

У Стрельцова дрогнуло сердце.

— Сколько тебе лет?

— Десять.

Они вышли из проулка на широкую улицу.

— А вон и райком... Где церковь-то была, так в саду, левее... Там он и есть.

— Спасибо. Ты где живешь-то?

Мальчик назвал улицу и номер дома.

— Чурсины мы... Меня Ленкой зовут.

— Вот что, Леня: ты приходи в райком. Ладно? Ну, когда очень поговорить захочется — приходи.

— Ты на секретаря прислан? — оживленно блеснул глазами мальчик.

— Вроде бы...

— А у нас тут начальник милиции Коньков. Самый главный... Солдаты в драку с ним чуть не схватились.

— Как это в драку?

— А пришли и костылями машут. Пайки требовали... фронтовики, они отчаянные. А он закрылся, удрал от них...

...С тяжелым сердцем перешагнул Стрельцов порог райкома. Его встретила молоденькая девушка.

— Вам секретаря? Нет его сегодня. Болен Степан Степаныч. Ночью схватило его... Не пришел.

«Второй секретарь, наверное, — подумал Стрельцов, вытягивая натруженную ногу. — Да, да, говорили о нем в крайкоме... язвенник, бывший учитель».

— А где же у вас машина? Во дворе не видно.

— Так ее Гурей Петрович взял... Он каждый день ездит на ней.

— Кто такой?

— Коньков. Начальник милиции.

— Ну, хорошо. Откройте мне кабинет первого секретаря. И как вас зовут, скажите.

Девушка вспыхнула.

— Вы... вы Стрельцов?

Он устало кивнул ей.

— Катей меня зовут, — зашепила к двери девушка, гремя ключами. — Вчера звонили нам из крайкома... Степан Степаныч велел машину к реке послать, а Коньков — ни в какую. Срочно ехать в район и все... Его и Степан Степаныч побаивается.

— Ишь ты! — усмехнулся Стрельцов. — А машина-то какая?

— «ГАЗ-67»... Старенькая... Чихает больше. Но ездить еще можно...

— Ладно. Ты, Катя, пока о моем приезде — никому. — Стрельцов растирал раненую ногу, морщась и вздрагивая. — Часа через два вызови весь райкомовский аппарат. Договорились?

— Хорошо. А вам квартиру подготовили... Рядом.

— Потом, Катя, потом... Заверготделом у себя?

— У себя. Потапов Спиридон Кузьмич.

— А вот его зови сейчас.

...Потапов был высок, костист, лет за шестьдесят. Борода лопатой, суровый, немногословный.

— Списки коммунистов-фронтовиков подготовьте.

— Есть они. Пожалуй, в каждом селе есть такие ребята.

— Эмтээсовцев с утра вызывайте. — А что из себя Коньков представляет? — спросил он.

— Большую власть имеет... Хозяином чувствует в районе. Откровенно говоря, не подступись. Член бюро.

— Приедет — пусть зайдет ко мне

Вечером Стрельцов принял Конькова. Невысокий, плотно сбитый. Круглолицый. Глаза смелые, острые.

— Что это у вас с фронтом нелады получились, товарищ Коньков? — уколол Стрельцов будто между прочим.

— То есть? — затаился тот.

— Кажется, здоров, а не повоевали еще.

Коньков хмыкнул.

— Это только видимость, что здоров, товарищ Стрельцов. Все внутри нарошешное... Печень, гастрит.

— Ну разве только так, — кивнул добродушно Стрельцов. — А ключи от машины положите на стол.

— Мне бы завтра... срочное дело в «Ниве». Вещи для фронта.

— Завтра мне самому нужна. Вы член бюро? Что делается к посевной?

— Обсуждали. Как же, обсуждали.

— А семена, а люди, а инвентарь? Завтра, если поедете, то только по заданию райкома и на своем транспорте. Кони есть? Ну вот.

Расстались холодно.

На следующий день, прихватив механика и директора МТС, Стрельцов выехал в район...

...После поездки всю ночь не спал. В селах ходил из двора во двор. Люди толкут соболек в ступах, перебиваются на картошке. Экономят. «До травы бы, до пучек дотянуть».

Семян в обрез. Тягл истощен.

— На тебя надежда, директор! Но чем подкормить людей?

Предрика Иванов показался растерянным, апатичным человеком.

— Кто будет новый хлеб растить? — Иванов развел руками...

Утром чуть свет — Стрельцов на элеваторе. Тут вороха отходов. Взял в пригоршню, провеял. На ладони вместе с зернами пшеницы — кырлы, овес, соболек...

— Я извиняюсь, — наклонился к зернам сторож, древний старик с выправкой заправского солдата. — Из этого зерна, товарищ секретарь, первейший хлеб выпечь можно!

С директором элеватора продолжил разговор в райкоме.

— Сколько отходов? Ого, сотни тонн! Давно лежит в буртах? Третий год? Славно!..

— Но учтите, — поняв, куда клонит секретарь, забеспокоился директор элеватора. — Энзэ! Ни грамма!

— Так уж и ни грамма? — не поверил Стрельцов.

— Ни грамма! Война!

— На фронте отходы не кушают.

— Все равно.

...На бюро секретаря поддержали директор МТС, заворг и, с оглядкой на Конькова, Иванов...

— Я категорически против, — сказал Коньков. — Это преступление!

— Кто будет готовить новый урожай, я вас спрашиваю, Коньков? Кто? — вспылil Стрельцов.

— Это меня не касается.

— Я это знаю. Итак, товарищи, решено: все по селам. Подводы, как можно больше подвод.

...И вот потянулись подводы... на коровах, на лошадях едут люди. Это было невиданное зрелище. Впереди, на первой подводе, секретарь райкома на латаных мешках с отходами сидит.

Всю неделю от села к селу в разъезде. Воспряли люди. Фронтовики сбивали надежный актив.

— Будет хлеб! Будет урожай, товарищ секретарь.
А краевой центр забомбили телеграммы.

«Преступление, хлеб по распоряжению секретаря райкома Стрельцова транжирится. Прошу разрешения пресечь в корне! Коньков».

«Срочная. Краевому прокурору. Прошу санкции арест расхитителей государственного хлебного фонда. Коньков».

«Молния. Крайкомпарт. Пресеките антигосударственные деяния секретаря райкома позволившего расхитить элеватора хлеб. Коньков».

...Комиссия приехала в канун пленума райкома. Район дружно вел сев. На пленум съехалось много фронтовиков. Первым взял слово Коньков.

— Как назвать действия товарища Стрельцова? Вредительством! Больше никак! Предательством! Больше никак!

Поднялся большой шум. Протестующие возгласы:

— Долой!

— Во-он!

Это был впечатляющий пленум. Коньков лишился мандата члена райкома.

* * *

Прошло много лет.

Недавно я встретился и с Коньковым и со Стрельцовым. Они оба уже пенсионеры. Соседи. Живут мирно и дружно. На рыбалку ездят и по грибы ходят. Только в часы воспоминаний о былом ершисты. Непримиримы. И каждый по-своему прав.

Удивительная вещь — время! Многое может сгладить, затушевать. А того, на чем когда-то сердца рвались, изменить бессильно. Потому что они рядом шагают, те не такие уж и далекие годы.

Оглавление

О Ч Е Р К И

В долине Каспы	9
Голубая падь	14
Три новеллы о чабане	32
Где цветут панты...	41
Ветка старого кедра	51
Табунщик из Ороктоя	56
Над Катунью-рекой	62
Здравствуй, новый Каярлык!	71
Олений парк	78
На тропе мужественных	90
Чуйские были	96
Шаргайта — село солнечное	101

Р А С С К А З Ы

Настенька	117
Почтарь	124
Под Чаптыганом	132
Весна аксакала	138
В бурю	142
Годы шагают рядом	149

Демченко Александр Михайлович

ВСТРЕЧИ В ГОРАХ

Редактор Л. Ракитина. Художник В. Еврасов. Художественный редактор Б. Лупачев. Технический редактор М. Сафонова. Корректор А. Дмитриев. АГ 01299. Сдано в набор 6. 5. 1974 г. Подписано к печати 1. 7. 1974 г. Бумага тип. № 3. Усл. печ. л. 8,19. Уч.-изд. л. 7,33. Тираж 30000 экз. Заказ № 1517. Цена 20 коп., в переплете — 36 коп. Алтайское книжное издательство Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли — Барнаул, Ленина, 76. Производственное объединение «Полиграфист» Управления издательств, полиграфии и книжной торговли крайисполкома — Барнаул, Л. Толстого, 29.







589

60 5

3534

2



36 коп.

